

033. Когда
заходит
солнце

1933

Флориан
Иллиес

Семейство
Томаса Манна
в Санари
18+



Флориан Иллиес
Когда заходит солнце.
Семейство Томаса
Манна в Санари

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74626421

*Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари: Ад
Маргинем Пресс; Москва; 2026
ISBN 978-5-908038-66-9*

Аннотация

Мастер беллетризованного исторического повествования Флориан Иллиес в своей новой книге создает групповой портрет немецкой творческой интеллигенции, в 1933 году внезапно оказавшейся перед лицом нагрянувшего фашизма. На первом плане – семейство Манн, включая не только знаменитых братьев Томаса и Генриха, но и детей нобелевского лауреата, тоже пробующих силы в литературе. Кроме Маннов, среди действующих лиц Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер, Бертольт Брехт, Олдос Хаксли и многие, многие другие именитые деятели культуры, кого судьба забросила в приморский городок Санари-сюр-Мер на юге Франции. Книга написана в характерной для автора ироничной трагикомической манере документального

коллажа, а на русский язык переведена лауреатом нескольких переводческих премий Михаилом Рудницким.

Содержание

Февраль	6
Март	36
Апрель	91
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Флориан Иллиес

Когда заходит солнце

Семейство Томаса

Манна в Санари

Florian Illies

Wenn die Sonne untergeht. Familie Mann in Sanary

*** * ***

Originally published as «Wenn die Sonne untergeht. Familie Mann in Sanary» by Florian Illies

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2025

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Февраль

Не самое подходящее время уезжать из Германии. Но поезд на Амстердам отходит в шестнадцать ноль-ноль, и Катя уже велела шоферу подать машину в четверть четвертого. И ни управление железных дорог, ни его собственная жена не удосужились вспомнить, что у него, нобелевского лауреата, по расписанию дня в это время как раз мертвый час.

Неслыханно.

Подавив вспышку гнева, Томас Манн извлекает из кармана благоухающий фиалками носовой платок. Не разворачивая тончайший шелк, короткими бережными касаниями проводит им по лбу, после чего, всё в том же аккуратненько сложенном виде, водворяет платок на место.

Всё должно сохранять свою форму.

Ему страшно, когда жизнь выбивается из привычной колеи. Когда, к примеру, он с четырех до пяти не может прилечь и спокойно отдохнуть. Или когда потрескивает поцарапанная пластинка на граммофоне. Когда раздаётся жужжание назойливой мухи, неведомо как проникшей в его кабинет. Когда с каждым новым глотком всё тревожнее ощущаются первые симптомы подступающей простуды. Все подобные неурядицы он воспринимает как личный выпад.

На календаре – 11 февраля 1933 года. За обеденным столом в доме семейства Манн на Пошингерштрассе в Мюнхе-

не расположились родители Томас и Катя с двумя старшими детьми, Клаусом и Эрикой. Тут же еще младшая дочка Элизабет и экономка Мари Курц, на баварский манер именуемая в семье Курц-Мари.

За столом тишина, только осторожное позвякивание ложек о тарелки. Обед без супа – не обед, так раз и навсегда распорядился глава семейства, для него это признак состоятельности и высокого положения в обществе.

Из детей сегодня за столом отсутствуют трое, причем как раз самые сложные, самые трудные: двадцатитрехлетний Голо готовится в Гёттингене к государственному экзамену, тринадцатилетний Михаэль, самый младший, в интернате в Нойбойерне, а дочь Моника, двадцати двух лет от роду, где-то в Берлине околачивается. А что же их родитель? Он только рад, что эта троица где-то далеко.

Катя обсуждает с Курц-Мари, что еще надо успеть уложить в дорогу. Им с собой только легкий, самый необходимый багаж, распоряжается она. А теплые зимние вещи отправить посылкой прямо в Арозу.

Ибо после докладов в Амстердаме, Брюсселе и Париже супружеская чета намерена три недели отдохнуть в Швейцарии, в Арозе, в любимом лесном отеле, где Катя так часто проходила курортное лечение и чей ресторанный зал Томас увековечил в «Волшебной горе». Да-да, они намереваются пробыть в своей «Волшебной горе» три недели, ровно столько же, сколько вначале планировал провести там главный ге-

рой романа Ханс Касторп.

По окончании трапезы Томас направляется к себе в кабинет – уложить саквояж; за окном зимний день уже тронут сумеречной дремотой. Взяв со стола рукопись доклада «Боль и величие Рихарда Вагнера»¹, он, слегка взволнованный значимостью момента, укладывает рукопись в кожаную папку. Потом упаковывает сигары, достав их из вмурованного в стену холодильного шкафчика. Вечное, такое легкое, такое самопишущее перо «Уотерман», к нему чернила. Последний кругляш имбирного печенья из жестяной коробки.

Так.

Он еще раз мельком оглядывает комнату, задумывается.

И вдруг, в неясном порыве, – будто подтолкнуло что, – берет со стола свой текущий дневник и прячет в стенной шкаф, в стопку прочих дневниковых тетрадей за последние тридцать лет, а шкаф запирает, тщательно, на два оборота, и ключ – сам не зная почему – решает прихватить с собой и кладет во внутренний карман саквояжа.

Но пухлую рукопись третьего тома «Иосифа и его братьев», над которой сейчас работает, оставляет на столе. Вот вернется – тогда и засядет снова.

Затем степенным шагом направляется к массивным чер-

¹ Почти все упоминаемые и цитируемые в книге произведения Томаса Манна (как и других авторов) издавались (многие неоднократно) в русских переводах, однако изменившийся контекст времени и контекст данной книги диктовали необходимость незначительной корректировки, но в большинстве случаев просто нового перевода. *(Здесь и далее, если не оговорено иное, примеч. пер.)*

но-золотым часам, что уже два десятилетия исправно тикают в углу на палисандровой тумбочке. Еще из Любека, старинное семейное наследство. Ненадолго задумывается: стоит ли заводить их перед отъездом? Потом всё-таки решает не изменять установленному обряду. С глубокой серьезностью тянет за шнур, прислушиваясь к ответному пощелкиванию в часовом механизме. Наконец металлическое тиканье, столь милое сердцу, снова наполняет комнату.

Время идет.

И только тут, перелистнув календарь на 11 февраля, – Катя из гостиной уже поторапливает своего «Томми», – он с ужасом спохватывается: ведь сегодня день их свадьбы, да, точно, 11 февраля 1905, двадцать восемь лет назад, как же он мог запамятовать! Первая растроганная мысль – о Кате, которая, уж конечно, ничего не забыла, но из деликатности не стала ему напоминать. Выйдя в гостиную, он только с нежностью, нежнее обычного, на нее смотрит, и она понимает всё, что он хочет сказать.

Элизабет – любимица, его «Меди»², – уже спешит из своей комнаты, хоть ненадолго обнять папочку, тот в ответ на прощанье целует дочку в лоб. Уже вскоре, через десять дней, когда родители придут в Арозу, она должна к ним присоединиться. И лишь теперь, наконец, Томас обстоятельно об-

² Поскольку в данной книге речь идет о конкретных, реально живших людях, их обиходные прозвища оставлены без изменений и – за немногими исключениями – без перевода.

лачается в пальто, кашне и шляпу. Муши, мальтийская болонка, белым шариком вертится под ногами, так ей не хочется отпускать хозяина, она даже потягивает в знак протеста. «Да тихо ты!» – раздраженно прикрикивает на нее Томас Манн и просит Курц-Мари взять собачонку на руки, иначе ведь за ними выскочит.

«Ти-хо» – он произносит это слово по-особому, отчеканивая по слогам, всякий раз, когда ненужная помеха вызывает его гнев, нарушая необходимый распорядок работы и жизни. И тогда с ним не до шуток – все домочадцы это знают, даже собачонка.

Засим Томас Манн с любекской решительностью захлопывает за собой мюнхенскую дверь, и они с Катей спускаются по ступенькам к подъездной дорожке, где Ханс Хольцнер, их шофер, уже ждет за рулем роскошного, тихо урчащего «хорьха».

* * *

А что же Клаус и Эрика? Они только рады, что родители наконец отчалили.

Накануне здесь побывала в гостях Аннемари Шварценбах³, богатая швейцарская подруга с ангельским личиком. Она привезла Томасу и Кате букет свежих цветов, а Клаусу и

³ Аннемари Шварценбах (1908–1942) – швейцарская писательница, журналистка, путешественница, фотограф.

Эрике порцию свежего лекарства. Теперь, когда «маменька» с «папенькой» наконец-то укатили на вокзал, можно спокойно подлечиться. Клаус еще с утра специально сбегал в аптеку за дистиллированной водой, но всё равно с этими ампулами, шприцами, жгутом столько мороки и всё ужасно сложно. Да, всё сложно, однако, как уже ночью с облегчением записывает он в дневник, «всё-таки проняло».

Вечером Эрика и Клаус, уже одни, в родительской гостиной испуганно слушают по радио речи с национал-социалистского митинга в Берлинском дворце спорта. И здесь тоже: всё-таки проняло. Чтобы как-то отвлечься, Клаус с упоением листает иллюстрированный альбом древней скульптуры «Красивый человек». До чего восхитительные мужские тела! Но и это не помогает: ночью во сне его преследуют отнюдь не красавцы-мужчины, а немецкие солдаты СС, один другого страхолудней.

Тем временем его родители в безмятежном купе спального вагона пересекают немецкую границу.

* * *

В Нойбойерне, у Михаэля в интернате, однокашники то и дело посмеиваются над писательскими опытами его брата Клауса. «Они считают, ты не особо талантлив», – резюмируя болтовню на школьном дворе, сообщает Биби (так его все называют) старшему брату, когда в январе им выпадает случай

посидеть где-то втроем вместе с Моникой. Его, младшего в семье, хлебом не корми, лишь бы при всяком удобном случае подколоть кого-то из пятерых старших братьев и сестер. Однако Мони вступается за брата: он очень даже талантлив (как-никак он единственный, кто всегда на ее стороне). Но Биби не сдается, с неколебимой логикой тринадцатилетнего задиры он заявляет: «Раз у тебя нет такого успеха, как у папеньки, значит, ты не талантлив».

В злосчастном феврале тридцать третьего Клаусу волей-неволей частенько припоминаются слова братишки.

* * *

13 февраля, в пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти Рихарда Вагнера, безусловно талантливый господин «папенька», то бишь Томас Манн, вечером, в 20:30, в зале амстердамского «Консертгебау» выступает с докладом про «Боль и величие Рихарда Вагнера», над которым работал с начала января. Тождественная речь обрамлена музыкой местного оркестра, который исполняет его любимое вступление из «Лоэнгрина», траурный марш из «Гибели богов» и «Зигфрид-идиллию».

Томасу Манну и невдомек, что в тот же вечер, в 634 километрах восточнее, в лейпцигском «Гевандхаузе» торжества по случаю пятидесятилетия со дня смерти Вагнера открывает новый рейхсканцлер Адольф Гитлер.

Выступление Томаса Манна, хоть и проникнуто глубоко личной болью и в неменьшей мере болью почитаемого им композитора, проходит без всякого успеха. Зал слишком велик, оратор говорит слишком тихо, из 2400 мест многие пустуют, а среди присутствующей публики полно простуженных. Катя, родившаяся как раз в год смерти Вагнера, еще той же ночью разгневанно пишет из «Гранд-отеля» Эрике и Клаусу в Мюнхен: «Так вот, в Амстердаме – а ведь именно этому вечеру наш Волшебник так радовался, – я просто чуть не умерла. Только представьте: зал на 2400 мест, в публике тьма духовно глухих иностранцев. Подавляющее большинство вообще ничего не понимало, только кашляло».

В дружном кашле духовно глухих иностранцев среди прочего потонули поразительные слова Томаса Манна, страстного почитателя Вагнера: «Глядя не только отстраненно поверхностным, но даже страстно восторженным взглядом, – серьезным, глуховатым, чуть гнусавым голосом вещает он, – впопору сказать, рискуя даже быть неправильно понятым, что искусство Вагнера – не что иное, как порожденный неимоверным напряжением воли и ума, в степень гениальности и монументального величия возведенный дилетантизм»⁴. Эти

⁴ Доклад о Вагнере, впоследствии переработанный в статью, опубликован в переводе А. Кулишер в десятитомном собрании сочинений Томаса Манна (*Манн Т. Собр. соч. В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1961. Т. 10. С. 102–173, далее цитируется как ТМ с указанием тома и страницы.*) Цитируемый пассаж в переводе А. Кулишер: «Действительно, не только поверхностный наблюдатель, но и наблюдатель вдумчивый, всматривающийся со страстным преклонением, должен, с риском быть

слова ему еще отольются. В зале, однако, такой кашель, что даже берлинский корреспондент *Vossische Zeitung* не всё в состоянии расслышать. В Амстердаме, сообщает он, Томас Манн якобы восславил в творчестве Вагнера сочетание традиции и модерна, «немецкой самобытности» и «всемирной современности». Томас Манн говорил, однако, о «всемерной дерзновенности». Когда в Мюнхене генеральный музыкальный директор Ханс Кнаппертсбуш, давно мечтающий возглавить Байрёйтский Вагнеровский фестиваль, прочтет эту статью, он чуть не лопнет от возмущения. Это Вагнер-то представитель «модерна»? Это Вагнер-то «дилетант»? Вечером его жена, повстречавшись с Хедвиг Прингсхайм, Катиной матерью, в антракте в мюнхенской опере, расскажет той, до какой степени разгневан ее супруг высказываниями Томаса Манна. Да и сама она «на ТМ очень сердита: как он посмел назвать Рихарда Вагнера дилетантом?!» Всё это Хедвиг Прингсхайм доложит в письме дочери. Выслушав такое, Томас Манн только головой покачает, но особого значения подобным отзывам пока что не придаст.

Он, напротив, намерен свои глубокомысленные суждения о Вагнере положить в основу небольшой книжки и оную вскорости опубликовать, конечно же, в родном издательстве S. Fischer: она уже скоро выйдет, с альпийских предгорий

неправильно понятым, сказать, что искусство Вагнера – дилетантизм, с помощью величайшей силы воли и изощренности ума доведенный до монументальных размеров, до гениальности» (ТМ, т. 10, с. 116).

радостно уведомляет он одного из друзей. Но она не выйдет никогда.

* * *

21 февраля, лишь десять дней спустя после отъезда супружеской четы Манн из Германии, в Берлине, на Анхальтском вокзале, в направляющийся на запад поезд садится и Генрих Манн, старший брат Томаса. Только едет он отнюдь не выступать с докладами. Шестидесятиоднолетний писатель отправляется в эмиграцию. Хоть и приобрел покамест билет только до Франкфурта-на-Майне, – чтобы не возбуждать подозрений, не будить спящих псов. Он старается выглядеть коммивояжером – по счастью, ему и стараться не нужно: в слишком безукоризненных костюмах, слишком новых, жестковатых галстуках, с отточенной складкой на брюках он всегда именно так и выглядит. Ни одна душа не должна догадаться, куда его, писателя, глашатая, не перестававшего бить тревогу о судьбах отчизны, влечет сегодня охота к перемене мест, а посему из багажа у него в наличии только зонтик под мышкой. Генрих очень боится, что его арестуют – еще на вокзале, прямо на перроне, или на границе. Слишком часто он открыто изъявлял симпатии к социалистам, вот и совсем недавно подписал «Воззвание боевой лиги социалистов» к мартовским выборам. Национал-социалистская пресса неистовствует. Его лично только что выдавили с по-

ста президента секции изящной словесности Прусской академии искусств. Два года занимал он почетную должность, однако теперь ни сам он, ни его воззрения не вписываются в возобладавший дух нового времени. В последнее время, когда он приходил в Академию, только шушуканье за спиной слышал. А потом на приеме во французском посольстве сам посол, Андре Франсуа-Понсэ, его предостерег. Мол, срочно. Вот тогда Генрих и понял: его время в Германии истекло.

А посему уже на следующее утро Нелли Крёгер, его неизменно жизнерадостная тридцатипятилетняя подруга, с которой он познакомился три года назад на Виттенбергплац в сомнительном баре «Баядера», где ей поручалось развлекать и потчевать гостей в роли старшей официантки, в их только что обжитой совместной квартирке на Фазаненштрассе, 61, уложила в чемодан два костюма и кое-что из белья, а сам чемодан принесла на вокзал и незадолго до отхода поезда, не привлекая внимания, как бы между делом забросила на багажную полку Генриху в купе.

– Пока, мой Хайни, – ласково шепнет она ему на перроне. Она и в самом деле всегда зовет его только так, по-простецки, Хайни, словно он крестьянин какой-нибудь, и брюкву выращивает, а не благородное поле немецкой словесности возделывает. Но ему это по душе, «общественное падение надо уметь смаковать», как написал он совсем недавно в своем маленьком объяснении в любви к дамам полусвета, чарам коих подпадал всю жизнь. Нелли на перроне плачет,

спрашивает его, когда же они теперь увидятся.

– Завтра?

– Послезавтра, – с мягкой улыбкой отвечает он.

Попрощавшись с Нелли, Генрих уже в одиночестве неспешно направляется к вагону с одним лишь зонтиком в руках. Только что уволенный президент секции изящной словесности Прусской академии искусств, автор «Верноподданного» и «Учителя Гнуса» садится в поезд на Франкфурт, переночует там в простенькой гостинице, с утра пораньше снова пойдет на вокзал, чтобы с первым поездом отправиться в Карлсруэ, а оттуда – до пограничной станции Кель. Там он выйдет из вагона на перрон, как бы между прочим прихватив с багажной полки чемодан. Он боится, что в поезде при пересечении границы контроль будет гораздо строже и полагает, что куда безопаснее покинуть отчизну пешим ходом. И в самом деле, пригревшийся на первом в году зимнем солнышке пограничник на немецкой стороне моста через Рейн без долгих слов шлепает ему в паспорт выездной штампель.

Последующие 234 метра по мосту Генрих пытается пройти как можно непринужденнее, прогулочной походкой. Однако с каждым шагом нервничает всё больше.

Под ним широкие, покойные, равнодушные воды.

На безупречном французском он здоровается с пограничником на другой стороне, в Страсбурге. Нет, ему нечего предъявить для таможенного досмотра, сообщает он, он

лишь на пару дней, развеяться. И точно так же, без лишних слов, в его немецкий паспорт проставляется французский штампель.

И он спокойно, как ни в чем не бывало, шествует дальше.

Сам себе не веря, всё еще крепко сжимая под мышкой зонтик, он смотрит на солнышко, которое теперь вдруг, неведомо как, стало французским.

Генрих Манн сумел! Он вырвался!

На почтамте, дожидаясь в очереди, он в карманном ежедневнике на страничке от 21 февраля черкнет одно только слово: «Выехал». Потом, с нескрываемым облегчением, отправит телеграмму на юг Франции, в приморскую деревушку Санари доброму другу Вильгельму Херцогу⁵, который отбыл в эмиграцию неделей раньше. А уж после Генрих снова сядет в поезд, который доставит его в Париж. В немецких газетах в тот день сообщается об окончании его президентства в секции изящной словесности Прусской академии искусств. «Вот и был таков Генрих, перед которым все трепетали от ужаса», – улюлюкает ему вослед нацистский бульварный листок *Völkischer Beobachter*.

* * *

Неловкое совпадение: в тот самый вечер 21 февраля, ко-

⁵ Вильгельм Херцог (1884–1960) – немецкий историк культуры и литературы, драматург, редактор политического журнала *Forum* (1914–1929).

гда их дядя Генрих вынужден, по сути, спастись из Берлина бегством, в Мюнхене на Пошингерштрассе, 1, Клаус и Эрика созывают гостей на бал «Перечной мельницы». Перепады политической атмосферы, вызванные сменой власти, доходят в Мюнхен с некоторым опозданием, католическая Бавария еще полагает в себе какую-то способность к сопротивлению, так что иные фронтеры поговаривают даже о возвращении к монархии.

Как, однако, кстати, что родители в отъезде. Вот уж который день Клаус и Эрика украшают весь дом гирляндами, в особенности гостиную, закупают новые грампластинки – завершение первых, столь успешных, представлений созданного Эрикой кабаре «Перечная мельница» надобно отметить с помпой. И то сказать: чуть ли не каждый вечер на крохотной сцене «Бонбоньерки», небольшого эстрадного зала прямо за зданием «Придворной пивоварни», она выступала с язвительными шутками и скетчами, высмеивая обывателей вообще и нацистов в особенности. Для нацистской прессы ее вечера прямо как красная тряпка для быка. Но Эрику не запугать, она и дальше намерена бичевать новый режим со всей беспощадностью, причем не одна, а вместе с любимой подругой, знаменитой театральной актрисой Терезой Гизе⁶: даже странно, на сцене она чувствует себя совершен-

⁶ Тереза Гизе (1898–1975) – известная немецкая театральная актриса, в частности, первая исполнительница заглавной роли в пьесе Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» (1941).

но неуязвимой. На балу в доме на Пошингерштрассе они обе – главные героини вечера, в карнавальных костюмах, тесно обнявшись, сидят на кушетке в гостиной. Эрика в образе арлекина гордо расхаживает по всему дому, хоть иногда и пошатываясь, потому что «быстро напилась» и потом заснула в детской ванной комнате, как позже запишет в дневнике Клаус. Сам он, весь в красном, выступает кардиналом, и даже губная помада подобрана точь-в-точь в цвет церковного облачения. Но праздник заканчивается совсем уж в несусветное время, благо и начался-то он по-настоящему лишь ближе к полуночи. В итоге только около семи утра Клаус, наконец, едва держась на ногах, поднимается к себе по лестнице в обнимку с разлюбезным другом, Гербертом Францем, по прозвищу Бабс, тоже театральным актером, правда, не таким знаменитым, он нынче в тирольской шляпе и, раз уж такое дело, в коротких баварских кожаных штанах с подтяжками. На втором этаже колоритная парочка, его преподобие и альпийский крестьянин, наталкиваются на пигалицу Элизабет – та завтракает под присмотром служанки и, заведя их, делает большие глаза. Ей сейчас в школу. Несколько часов спустя еле живые Клаус и Эрика тащатся на Арцисштрассе, в роскошный особняк, да что там – дворец бабушки с дедушкой, на чай, они опять сдуру пообещали именно сегодня обязательно зайти. Так уж повелось, чуть ли не через день кто-то из внуков непременно навещает «пращуров», а когда уезжают, поток писем исправно поступает в роскошные принг-

схаймовские хоромы.

Но в тот день от глаз бабушки не укрылось, что представители старшего внучатого поколения мало на что пригодны. «За чаем Эри и Айси, в жутком похмелье после вчерашнего бала».

* * *

И вообще – ох уж эта бабушка! Хедвиг Прингсхайм, ска-
зочно богатая, неутомимая, заносчивая, ядреная, – и кладезь
чудесного, неиссякаемого юмора. Дочь Хедвиг Дом, одной
из первых феминисток, писательницы, главного редактора
сатирического журнала *Kladderadatsch*, она начинала актри-
сой, покуда в двадцать три года не сменила театральные под-
мостки на закулисье брачных уз. Недавно ей исполнилось
семьдесят восемь, но ее дантист (доктор с замечательной фа-
милией Кнохе⁷) уверяет, что у нее зубы как у сорокалетней,
о чем она не преминет с гордостью упомянуть в дневнике. Ее
супруг, восьмидесятитрехлетний весельчак, профессор ма-
тематики и щедрый меценат (всё за счет унаследованной от
отца фабрики железнодорожного оборудования), когда-то –
о чем он рассказывает даже тем, кто не хочет слушать, – со-
стоял в весьма дружеской переписке с Рихардом Вагнером.

⁷ Фамилия созвучна с немецким словом «кость» (der Knochen). Примерным русским соответствием в данном случае могло бы быть, допустим, «доктор Хруст».

В музыкальном салоне, украшенном работами выдающихся мастеров недавнего прошлого, он всё еще весьма недурственно музицирует на рояле, иной раз и в четыре руки, например, с внучкой Моникой, благодаря чему та время от времени пишет ему странные любовные письма, которые получатель как можно скорее старается скрыть, дабы их не нашла жена и брезгливо не сморщила носик. Хотя обычно подобная скрытность ему не присуща, супруга всю жизнь вынуждена терпеть его сменяющиеся любовные пассии и даже потчевать их дома чаем, – да еще не подавая вида, даже с улыбочкой, ужас. Первой была Тернина⁸, знаменитая вагнеровская прима. За ней последовала некая художница, благородная дама, та навещала Альфреда во второй половине дня, к чаю, впрочем, супруг практиковал подобные встречи не только в домашних стенах.

Катя давно уже стала наперсницей у матери, которая рассказывает ей об эскападах отца семейства, о его послепоуденных развлечениях фавна, благодаря чему и сама Катя уже прекрасно подготовлена к супружеству во лжи.

Их дети зовут бабушку и дедушку Оффи и Офай. И только Клаус, когда немного разнервничается, именует их «нашими пращурами». Семьи видятся регулярно, чаще в роскошном дворце дедушки с бабушкой, а вот к зятю с дочкой старики навещаются гораздо реже, потому что Альфред и Томас не

⁸ Милка Тернина (1863–1941) – выдающаяся хорватская оперная певица, драматическое сопрано.

особо друг с другом ладят и веселых, шумливых стариков изрядно потешает, что на Пошингерштрассе надобно вести себя тихо, — нет, «ти-хо!», — когда господин писатель изволит работать, или думать, или курить, или отдыхать, — в сущности, практически всегда.

В остальном же осчастливленный отцовским наследством Альфред, по сути, не знал в жизни неприятностей, но как раз сейчас, в середине февраля 1933-го, к сожалению, такая объявилась: на большом пальце левой ноги врастает ноготь, и в узких, на заказ пошитых штиблетах стало больно ходить.

«Он давно уже хнычет», — пишет его супруга Хедвиг, наверно, пора и в самом деле пригласить доктора. А у самой температура 39 и сильнейший кашель, но целый день ей приходится, как она пишет, «проваландаться» с приготовлениями к небольшой домашней операции. Хотя собиралась дочитать новую книжку с письмами матери Гёте. В семнадцать ноль-ноль наконец приходит доктор и вырезает злополучный ноготь.

На следующий день Хедвиг чувствует себя еще хуже, однако господин супруг с перевязанным пальцем, конечно же, требует ухода. «Мне совсем скверно, однако Альфреда, которому уже гораздо лучше, пришлось обиходить». Так и слышишь, до чего ей, дочери феминистки, как-никак профессиональной актрисе, обрыдла пожизненная роль примерной супруги.

* * *

На выходные Голо Манн вместе с другом-приятелем Каем Кёстером едет в Веймар – хоть немного отдохнуть от зубрежки перед госэкзаменом. Останавливаются – положение обязывает – конечно же, в роскошном отеле «Элефант».

Направляются в дом-музей Гёте. Посетителей кроме них никого. Старичок смотритель водит их по комнатам знаменитого дома на Фрауэнплан, то тут, то там торопится смахнуть пыль с полок, показывает книги, коллекции, а под конец и кресло, в котором Гёте скончался. Они идут дальше, всюду мертвая тишина, только скрипят половицы, и Голо ужасает зловещее запустение в огромном, будто вымершем здании.

* * *

Вечером 22 февраля в Париже пути двух братьев – Томаса и Генриха Маннов – ненадолго пересекутся. Генрих проводит во французской столице первый вечер своей эмиграции. Для Томаса это уже третий пункт его гастрольной программы докладчика. Принимают их с супругой на государственном уровне, селят в отеле Majestic, привечают и чествуют как только можно, а Томас и здесь произносит свою речь «Боль и величие Рихарда Вагнера». В которой, среди прочего, за-

являет, что для него «немыслимо видеть в Вагнере предшественника гитлеризма».

Назавтра Томас и Катя собираются отправиться на отдых в Швейцарию, чтобы в марте вернуться в Германию. Тогда как Генриха влечет на юг Франции, возвращение в немецкую отчизну представляется ему смертельно опасным, просто немыслимым. Он так прямо брату и заявляет, когда они встречаются в ресторане, но тот ни о чем таком и слышать не хочет. Сколь ни велико внешнее сходство, усугубляемое еще и пышными усами, по натуре братья совсем разные люди и сказать им друг другу почти нечего. Однако оба давно научились эту трудность преодолевать. Ведь Любек как стиль жизни – это еще и умение не терять лица. Безупречная осанка, невозмутимые мины. Словно два памятника самим себе сидят они в накрахмаленных сорочках, добротных костюмах и смотрят на протекающую за окнами парижскую жизнь. Говорят мало, зато часто откашливаются.

– Ну и времена.

– Да уж, времена те еще.

По крайней мере, на такой интерпретации действительности они способны сойтись.

Когда-то в Любеке, еще детьми, они однажды целый год друг с другом не разговаривали. И никому так и не рассказали, почему. После войны снова – чуть не четыре года взаимного молчания, настолько непримиримы были их разногласия по вопросам большой политики. После смерти мате-

ри отношения худо-бедно наладились, однако Томас Манн испытывает явное облегчение и поспешно встает, едва Катя наконец произносит, что им пора. Зато Генрих еще долго сидит один в небольшом, уютном ресторанчике, поглядывая на уличную суету. Он думает о Нелли. Всякий раз, соприкоснувшись с ледящим холодом брата, он особенно тоскует по теплу ее тела.

* * *

До чего же странная общность – это семейство Манн: все неразрывно друг с другом связаны, но зачастую не столько любовью, сколько тщеславием, сентиментальностью, сердечной неприязнью, а то и страхом. «В целом, все вместе, мы смотримся блестяще – однако изъян имеется у каждого», – отстраненно диагностирует Томас Манн у себя в дневнике.

* * *

Взять, к примеру, хотя бы вот ее – Монику Манн, для домочадцев и друзей просто Мёнли. Еще до рождения ей суждено усвоить, что вставать помехой на отцовской орбите не рекомендуется. По всему выходило, что она должна родиться 6 июня 1910 года, однако дата оказалась зарезервирована под день рождения папеньки, нобелевского лауреата, а посе-

му он, лауреат, попросил жену Катю, уж пожалуйста, произвести ребенка на свет не раньше 7 июня. И Катя, давно привыкшая не только всех окружающих, но и саму себя, свои чувства и даже мышцы тазового дна подчинять жизни супруга, сделала, как приказано. Моника появилась на свет, как и пожелалось, то бишь с небольшим опозданием, – каковое пустяковое опоздание словно прилипнет к ней на всю ее последующую жизнь. И хотя отец ведь сам того пожелал, Моника – по этой причине, но и не только – всё время и беспрестанно будет действовать ему на нервы. Он будет считать, что она, единственная из его чад, слегка выпадает из положенной формы, хотя бы потому, что снова и снова таскает сладости из столовой. И вечно у нее на голове не волосы, а просто космы какие-то. Однажды, когда ее роскошная шевелюра в очередной раз показалась ему слишком буйной, он – на торжественном обеде, при всей семье – хватает со стола маленькую подставку для столовых приборов и упрямо, с плохо сдерживаемой яростью, пытается эту подставку засунуть, ввинтить ей в спутанные волосы. Обмерев от страха, с широко распахнутыми глазами, она молча терпит. Остальные братья-сестры только хихикают.

В этом феврале двадцатидвухлетняя Мони находится в Берлине, родители вот уже которую неделю не имеют о ней вестей. Кроме нескольких просьб прислать денег, разумеется.

Да, в семействе Манн недели не проходит, чтобы кто-то из

детей, распинаясь в пространных объяснениях, не попросил денег. И Катя, не говоря ни слова, переводит. По крайней мере этих ресурсов, в отличие от душевного тепла, в эмоционально выстуженном доме, благодаря ассигнованиям де-душки с бабушкой и стабильному притоку от книжных продаж, более чем достаточно.

* * *

Судя по всему, своим бегством во Францию Генрих Манн и вправду спасся буквально в последнюю секунду. Спустя всего несколько часов в его квартире на Фазаненштрассе гестаповцы всё переворачивают вверх дном, а Нелли Крёгер задерживают. Ее допрашивают сутками. Где, позвольте осведомиться, Генрих Манн? Она в доме всего-навсего прислуга, отвечает Нелли, откуда ей знать, где хозяин. Эта буфетчица с Курфюрстендамм прикидывается сельской простушкой. Гестаповцы ей хоть и не верят, однако через три дня отпускают. Слишком она важна как контакт и потенциальный источник информации: ведь Нелли состоит в интимной связи не только с пособником социалистов Генрихом Манном, но и – чтобы совсем не зачихнуть с сожителем явно не первой молодости, – по меньшей мере в не менее интимных отношениях с молодым коммунистом подпольщиком Руди Кариусом, что обретается на Вальштрассе, 23. Для него автор романа «Верноподданный», открыто выступивший на стороне соци-

алистов, – настоящий герой. Так что Хайни и Руди прекрасно друг с другом ладят, и, вероятно, здесь перед нами едва ли не самый благополучный любовный треугольник во всей этой книге. Генрих Манн в подобных вопросах весьма снисходителен и великодушен.

* * *

«Фрау Томас Манн» – так и значится на именном бланке ее почтовой бумаги. Как хочешь, так и понимай: то ли «госпожа Томас Манн», то ли «жена Томаса Манна». Иная супруга посчитала бы подобную аттестацию унижительной, превращающей ее всего лишь в придаток знаменитого мужа, но Катю Манн, урожденную Прингсхайм, как ни странно, это, напротив, возвышает. Да, она не чувствует никакого унижения, только собственную значимость. Ей знакома подобная двусмысленность еще по матери, которую все величают «госпожа профессор», хотя та всего лишь жена профессора. Ну, а Катя – жена величайшего немецкого писателя, выдающегося художника слова, мать шестерых его детей и, значит, вправе гордиться. А еще она – управляющая делами Томаса Манна, организатор всей его жизни, его неуклонного пути наверх, – такой она себя видит. И это возвышает ее и без того достаточно высокое фамильное самосознание Прингсхаймов до манновских высот и вообще до самой высокой мужской планки. Супругов сближает и любовь к изыс-

канной речи, и тихая радость Томми при звуках Катиного смеха, переливчатого стаккато, и слегка ироничный взгляд на остальной мир, и совместно разделяемое убеждение, что они в этом мире – нечто лучшее. И Катя ой как любит дать это почувствовать всей обслуге, – недаром в доме на Пошингерштрассе так часто, порой раз в месяц, сменяются бонны, горничные, поварихи.

Самая большая Катина слабость – пристрастие к конфетам «кошачьи язычки», округлым палочкам нежно-горького шоколада: в дамском салоне, тайном главном штабе всего дома, всегда стоит открытая коробка излюбленного лакомства, а рядом – телефон. Снимая трубку, неизменно после первого же звонка, хозяйка дома внятно произносит: «Манн слушает», – и большинство звонящих принимают ее за мужа, до того авторитетный, глубокий у нее бас.

В девичестве Катя считалась в Мюнхене самой завидной партией, славясь не только богатством и красотой, но и незаурядным умом и образованностью. Первой девочкой в городе она сдала экзамены на аттестат зрелости и с 1901 года действительно изучала в Мюнхенском университете высшую математику у профессора-отца и экспериментальную физику у самого Вильгельма Конрада Рёнтгена. Но потом всё же предпочла избрать иной эксперимент, тоже высшего порядка, выйдя замуж за молодого многообещающего писателя. А чтобы эксперимент шел удачно, она всю жизнь неусыпно и неустанно старается предотвратить воздействие на их брак

привходящих сил как извне, так и изнутри. И как ни удивительно, ей это удастся.

Похоже, правда, только ценой полной самоотдачи. «Всю жизнь я не могла делать то, чего мне действительно хотелось», — резюмирует она на склоне лет.

Звучит горько. С ноткой самоотречения. Но в этом семействе на самом деле всё немного не так, как выглядит со стороны.

Ибо «госпожа Томас Манн», казалось бы, подводя этой записью итоги жизни, улыбается. Почти блаженной улыбкой.

Но сейчас, в февральские дни 1933 года, она только недавно отметила сорокадевятилетие, и заниматься не тем, чем действительно хочется, ей придется еще долго. После утомительного путешествия в поезде она вместе с мужем только что прибыла в Арозу, в столь дорогой их сердцу отель, где предстоит обживать гостиничный номер, и в глубине души она страстно молит лишь об одном — как бы муж во время долгой поездки не простудился, потому что иначе, иначе это и правда будет совершенно невыносимо.

* * *

Между прочим, у Кати есть брат-близнец, его зовут Клаус, он профессор, преподает композицию в Токио, а еще он гомосексуал. Но женат, они с женой, чтобы всё выглядело нормально, даже произвели на свет двоих детей. Так что Катя

Манн еще до брака, под родительским кровом, была вполне осведомлена о тайнах, безднах и прихотях мужского влечения.

* * *

Катиному сыну Клаусу, подверженному тем же наклонностям, именно в эти дни особенно худо. Собственно, ему, к сожалению, почти никогда не бывает хорошо, он страдает с рождения – от самого себя, от жизни, от отца, но сейчас, в феврале 1933-го, его состояние и впрямь внушает тревогу.

Ища успокоения, Клаус пробует читать, одно, другое, старое, новое, пока не натывается у Фридриха Хеббеля на фразу, в которой внезапно, как ему кажется, распознан он сам: «Боль всех воспринимать как свою личную – великое несчастье!» Да, его страшно удручает приход нацистской диктатуры, разгул зверства и тупости вокруг. Тоска – извечный спутник его беспокойства, страх – обратная сторона внешнего блеска, тщеславие – завеса его потерянности. Он всё хочет делать не так, как отец, а значит: гомосексуалом жить, культ формы опрокинуть торжеством бесформенности, ничего в себе не подавляя, но для воплощения подобных чаяний он имел глупость пойти по отцовской стезе, избрав делом жизни писательство.

А еще он имел глупость возомнить, что уже в двадцать шесть лет, то бишь в 1932 году, он должен написать свою

первую автобиографию, под названием «Дитя своего времени». Газеты высмеивают его наперебой. А Клаус даже не догадывается, что уже давно, параллельно с этой, пишет другую, куда более значительную автобиографию: свой дневник. Его сокровенные свидетельства тридцатых годов ошеломляют точностью и политической остротой наблюдений, а взгляд на самого себя – невероятной беспощадностью. Это из дневника мы знаем, что в феврале 1933 года его мучили мысли о самоубийстве. «Будь под рукой яд, я бы ни секунды не колебался, – записывает он 19 февраля. – Если бы не Э (и М). Из-за этого связан». Э – это Эрика, любимая сестра, вместе с которой он мечется по миру, а М – в скобках – это Миляйн, мать, мама. Кроме них, ничто не удерживает его в сей жизни. Ночью ему снится, будто Эрика родила от него ребенка – потом, правда, оказывается, что сновидческий ребенок всё же не от него.

Утешение даруют ему только «бесконечно прекрасные» стихи Готфрида Бенна, вот в нем, кажется Клаусу, как ни в каком другом современном немецком авторе, он чувствует родственную душу, снова и снова он цитирует бенновский гимн кокаину: «Самораспад, тот сладкий, возжеланный, – ты даришь мне...»

Его собственный распад в эти дни прогрессирует. Даже когда вместе с Эрикой в запустелом родительском доме на Пошингерштрассе они празднуют «перечно-мельничный» бал-маскарад, он в алом кардинальском одеянии толь-

ко изображает веселье, что-что, а уж притворяться он всегда был большой мастак.

«Поистине отчаянное веселье», запишет он ночью в дневник. В этом мрачном немецком феврале тяга к смерти одолевает Клауса всё сильнее, непрочная завеса между жизнью и смертью колыхается всё заметней. И его доза с каждым днем увеличивается. Он с удивлением подмечает в дневнике: «Кстати, страха смерти – ни на йоту».

Зато этим страхом охвачены родители – они просто в панике. Ибо когда Клаус пишет матери, только-только обосновавшейся в Арозе в лесном отеле: «Дело худо, дело худо, дело совсем худо», – он имеет в виду политическое положение. Но всем известно, что он может иметь в виду и самого себя. Оба брата – Томас и Генрих Манны – уже потеряли двух сестер, покончивших самоубийством. Клара – в 1910-м, а Юлия – в 1927-м. И старший брат Кати, Эрик, страдавший пагубным пристрастием к азартным играм, да и к наркотикам, за неподобающее поведение изгнан семейством в Аргентину, где лишил себя жизни.

Всё это темные, донельзя мрачные истории, которые не то что вслух, про себя никто поминать не смеет. Даже мысли такие лучше выбросить из головы и думать о чем-то другом. Да, вытеснять из сознания всё нежелательное – подобным навыком каждый член семейства овладел в совершенстве.

Может, уже достаточно бедствий на одну семью? – задаются иногда вопросом Генрих и Томас (разумеется, каждый

только про себя). И тем не менее, когда Клаус, на всю жизнь обремененный еще и именами своего знаменитого дядюшки и куда более знаменитого родителя, — да-да, в это почти невозможно поверить, но официально его полное имя звучит как Клаус Генрих Томас Манн, — так вот, когда Клаус столь демонстративно кокетничает помыслами о самоубийстве, его отец и дядюшка делают вид, будто этого не замечают. Пустяки, ничего он такого не сделает.

Но у Э и М, у сестры и матери, всякий раз сжимается сердце.

«Дело худо», — так Клаус написал. Дело и вправду хуже некуда.

Или, может, всё-таки обойдется?

Март

Ранним утром 1 марта, проведя двенадцать часов в пути, Генрих Манн сходит с парижского поезда на вокзале в средиземноморском Тулоне. Ослепительное солнце, иссиня-голубое небо, безоблачно. В былые годы он часто приезжал сюда, на любимый Лазурный берег, отдохнуть, в полной мере насладиться фешенебельной курортной жизнью в Ницце. Но сейчас он приехал как изгнанник. Его давнишний друг Вильгельм Херцог, который эмигрировал еще в начале февраля и обосновался здесь в Санари, тот самый, кому он телеграфировал сразу по пересечении границы, встречает его на перроне. Друзья обнимаются. Херцог потом запишет в дневнике: «Генрих Манн. Чудом вырвался из Третьего рейха. Смеется, радуется как дитя».

Значит, хотя бы у одного человека есть повод для отличного настроения в этот драматический месяц март.

* * *

Никогда в жизни Голо не чувствовал себя раскрытым до такой степени, буквально с потрохами. Даже отец не способен заглянуть ему в душу настолько глубоко, как его сосед

по комнате Ханс Бауэр. Бывшие однокашники по Салему⁹, они недавно повстречались случайно, а поскольку учатся оба в Гёттингене, решили съехаться. А потом в один прекрасный день на письменном столе у Голо неведомо как оказался дневник Бауэра. И Голо не удержался, заглянул. И обнаружил там о себе такое, что до сих пор не может опомниться. У Голо, приходит к выводу его сосед, «неимоверные трудности, даже правильно что-то осознав, сообразовать с этим знанием свою жизнь». О господи, думает Голо, так оно и есть! А вот еще: «Но желание нравиться ему удастся обуздать силой необычайно развитого интеллекта». И так далее и тому подобное. Голо просто глазам своим не верит. А самое ужасное: Бауэр раскусил его физиологические комплексы и подспудную, с трудом подавляемую тягу к мужскому полу.

Между тем еще пару лет назад директор салемской школы именно об этом специально рапортовал Томасу Манну в письме: дескать, у Голо, похоже, налицо «нездоровые влечения», которые надо бы «вытравить голодовкой воздержания». Впрочем, приходится предположить, что обращаясь с подобными диетическими рекомендациями по части эротики именно к Томасу Манну, отправитель в данном случае сильно ошибся адресом.

Зато совершенно очевидно, каким таким чудом вся под-

⁹ Школа в замке Салем – элитарная частная школа-интернат в Баден-Вюртемберге, основанная в 1920 году педагогом Куртом Ханом при поддержке принца Максимилиана Баденского.

ноготная Голо оказалась Хансу Бауэру доступна, словно раскрытая книга: да потому, что он, заблудшая душа, конечно же, сперва вдоль и поперек изучил дневники Голо, а уж потом, всё проведая про его душевные муки, принялся писать свои якобы столь проницательные наблюдения, лишь бы поразить, да и побольнее уязвить товарища. И этот свой фальшивый дневник он Голо на стол просто подбросил, – уж так-то наверняка прочтет. Причиной же всему, вероятно, послужила просто влюбленность без взаимности, в итоге повлекшая в судьбе Бауэра роковое несчастье. Ибо вскоре после этого случая Бауэр покончит жизнь самоубийством, бросившись под трамвай. А в душе Голо вместе с пережитым чувством жгучего стыда теперь угнездится еще и чувство вины: он ничем не помог отчаявшемуся товарищу.

История эта будет преследовать Голо всю оставшуюся жизнь: испытанное унижение, потрясение, а потом еще самоубийство. Никогда прежде не спускался он в столь страшные бездны, не плутал в столь беспросветных лабиринтах собственного существа, как в те дни потрясения, стыда и ужаса. «Это было как удар молнии, пришедшийся совсем рядом», – напишет он.

В Гёттингене, где он готовится к государственному экзамену на должность учителя, он то и дело просыпается среди ночи, потому что в кошмарах ему снова снятся те жуткие дни. «Будь я писателем, я бы, наверно, как-то переработал пережитое в литературу, но мне это невозможно, ненавистно

даже», – пишет он 4 марта Лизль Бауэр, сестре покойного, с которой познакомился на похоронах. И тут вдруг, внезапно, в его письмо, в сугубо личную драму вторгается внешний драматизм: «Сейчас, когда я это пишу, из репродуктора на рыночной площади ночную тьму разрывает лающий голос Гитлера, а вдобавок к нему всполохи костров и прожектора, словно уже побеждены и Польша, и Франция».

* * *

В изрядно перетопленном салоне лесного отеля Arosa, что укрылся среди заснеженных горных вершин, 5 марта расположились Катя и Томас, а также их недавно прибывшая из Мюнхена дочка Элизабет и много прочих постояльцев: после ужина все собрались к радиоприемнику в ожидании новостей о результатах немецких выборов. С 21 часа начинают поступать сводки. Национал-социалисты с помпой объявляют о своей победе. Не в силах сдержать волнение, Катя вскакивает со стула и с возмущением выпаливает:

– Это вообще курам на смех, какие там свободные выборы! Всю оппозицию давно посадили!

Но тут к ней подходит другой постоялец и шепотом говорит:

– Милостивая сударыня, прошу вас, вы бы поостереглись...

В первый миг Катя пугается, но виду, конечно, не подает.

* * *

Новый его издатель прежде был врачом, вот почему, когда этот доктор медицины Готфрид Берман Фишер, зять его первого издателя, ввиду преклонного возраста отошедшего от дел Самюэля Фишера, в письме от 9 марта настоятельно рекомендует продлить пребывание в Арозе «по состоянию здоровья», Томас Манн поначалу воспринимает его совет в буквальном смысле, как медицинскую рекомендацию. «Я слышал, вы вознамерились уже вскорости прервать курортное лечение. С врачебной точки зрения я полагаю подобное решение в корне ошибочным». Не сразу, лишь постепенно, особенно при упоминании о возможности «непредсказуемых атак», до Томаса доходит, что, по сути, он читает зашифрованное послание. В полной растерянности он зачитывает письмо жене, когда та вместе с дочкой Меди возвращается в отель после катания на лыжах.

* * *

В осиротевшей вилле на Пошингерштрассе Клаус и Эрика тоже ломают голову, пытаясь сообразить, как бы подходчивее сообщить родителям, что тем ни под каким видом нельзя возвращаться из Арозы. Положение в стране всё более тре-

возное, а уж после 27 февраля, после поджога Рейхстага, национал-социалисты распоясались вовсю, повергая страну в страх и ужас. В городе пылают пожары и царит упоенный нацистский разгул. Отряды штурмовиков и эсэсовцев в открытую маршируют по мюнхенским улицам, перед домами видных еврейских семей установлены посты нацистских молодчиков в зловещих кожаных пальто. Люди запуганы террором, обысками, арестами. В газетах яростная травля евреев и врагов «всенародного национального подъема». На мюнхенское радио евреям доступ закрыт. Над всеми общественными зданиями города реют знамена со свастикой в честь «победы национальной революции». А в Берлине 28 февраля, сразу после поджога Рейхстага, арестован Карл фон Осецкий¹⁰, блестящий литератор, убежденный пацифист, издатель еженедельника *Weltbühne*, – сначала просто задержан, но уже вскоре отправлен в первый спешно организованный концлагерь неподалеку от столицы.

Скорей всего, именно такой участи в последний миг успел избежать Генрих Манн, дядя Клауса и Эрики. Но снаряды террора рвутся всё ближе, брат и сестра следят за этими попаданиями со смесью ужаса и странного азарта: неужто действительность и в самом деле превзойдет в безумии даже то, что виделось им в самых страшных снах, что они на сце-

¹⁰ Карл фон Осецкий (1889–1938) – немецкий писатель, поэт, антифашист, выдающийся публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1935 года «За борьбу с милитаризмом в Германии». Умер в концлагере.

не «Перечной мельницы» высмеивали в гротескных шутках? Неужели страна и вправду способна изничтожить всё, что составляло ее славу, честь и достоинство? 11 марта обычно весьма многословный Клаус запишет в дневнике всего одно слово: «Уезжать?» Пока еще с вопросительным знаком, однако время сомнений продлится очень недолго.

В национал-социалистской прессе их и так уже травят, не только за то, что они не скрывают своей сексуальной ориентации, но и за язвительные насмешки над нацистами, на которые в кабаре у Эрики не скупились. А еще потому, что всему городу известно: у Хедвиг и Альфреда Прингсхайм, родителей их матери, еврейские корни. А по «расовой логике» национал-социалистов эти корни в полной мере распространяются и на их мать, хоть и крещеную христианку, и на самих Эрику и Клауса. Но покамест во всём семействе лишь они двое, прежде сугубо аполитичные богемные создания, в эти мартовские дни распознают масштабы грозящей опасности. Бабушка с дедушкой пребывают в твердолобой, непрошибаемой безмятежности. Как будто богатство и высокое положение в обществе способно их защитить! Да и отец в Арозе не желает осознавать серьезность положения, в отличие, правда, от их матери; больше всего ему хочется поскорее вернуться на родину, в свою замечательную виллу, к своим книгам, граммофону, а на июль он уже запланировал летний отдых всем семейством в Ниде, на Куршской косе. Если он не вернется, заявляет он Кате, его невозвращение

воспримут как сигнал, что он поверил в победу национал-социалистов.

11 марта Клаус и Эрика на 18:00 заказывают международный телефонный разговор с супругами Манн, в данное время постояльцами лесного отеля Arosa, номера 210 и 211.

* * *

На самом деле Томасу Манну сейчас очень даже не по себе. С первых шагов на писательской стезе, совпавших с началом столетия, он неизменно и пристально следил за тем, как он выглядит в глазах современников. У него всегда было чувство, будто жизнь его имеет символическое значение. В каждый момент своего физического существования он мыслит себя фигурой исторической. Можно, конечно, назвать это манией величия, ну а что, если он всего-навсего реалист?

Как бы там ни было, ему решительно не по нраву, что сейчас, в начале марта 1933 года, он, подобно другим именитым писателям Веймарской республики – как то Эрих Мария Ремарк или Альфред Дёблин – пребывает за границей, и это когда в «рейхе», как он неизменно именует отчизну, происходит столь грандиозный исторический перелом. Себя Томас Манн видит истинным патриотом, которому патриотизм национал-социалистов с их пафосом ежевечерних факельных шествий просто смешон. И он не желает поощрять создающееся впечатление, будто «эти твари», как он презри-

тельно именует нацистов, в силах изгнать его из страны. А что у его жены и детей еврейские корни, об этом он, по наивности, даже не считает нужным говорить.

Ему совсем другое покоя не дает. Томас Манн знает, что бежавшие за границу литераторы полагают себя «эмигрантами». Но он-то, великий Томас Манн, нобелевский лауреат, эмигрантом категорически быть не желает. Он себя таковым не чувствует. А значит, таковым и не станет (самым трогательным образом он всю жизнь свое субъективное мировосприятие будет принимать за единственно мыслимую реальность).

Так что стоит Кате произнести само слово «эмигрант», он презрительно кривит губы. Он? Нет, только не он. Это ниже его достоинства, так он чувствует. Не желает он быть частицей какого-то вынужденного сообщества. Он, Томас Манн, никому не позволит указывать, где ему находиться! Но в то же время он смутно ощущает, что его длительное отсутствие в Мюнхене дает основание как раз для противоположных допущений. А посему и в разговорах, и в письмах не устает подчеркивать, что всего лишь решил немного продлить отдых. И, разумеется, вскоре вернется. Просто отчизна его ненадолго впала в прискорбный, болезненный бред, вот он и подождет, пока она опомнится. Он и вправду всё еще уповаает на возвращение, пусть даже постепенно начиная понимать, что упования его напрасны. «Дорогой барышне Херц» – нюрнбергской почитательнице, которую он использует то

ли как удаленный филиал личного архива, то ли как жалобную книгу, он пишет 10 марта из лесного отеля: «Не могу толком есть, не могу толком спать, мысль о полном перевороте всего существования моего, само представление о необходимости отправиться в изгнание, в пятьдесят семь лет, будучи столь глубоко связанным с культурным наследием и языком родины, настолько не в силах себя от них отделить, – всё это повергает меня в непрестанную тревогу и потрясение».

Здесь, в одной фразе, весь внутренний раскол Томаса Манна, он даже об «изгнании» говорит, но, разумеется, только о «представлении о необходимости отправиться в изгнание», да и то лишь покуда само представление в почтовом конверте укрыто. Он написал, – сообщает он далее всё той же барышне Херц, – письма нескольким мюнхенским друзьям с доверительной просьбой о совете, стоит ли ему возвращаться в Германию. Если завтра, то есть 11 марта, он не получит «решительного предостережения», то надеется, так пишет Томас Манн, 12 марта наконец вернуться в Мюнхен.

* * *

До звонка родителям еще есть время. Клаус выходит прогуляться в сад, благо на небе вовсю сияет солнышко и день выдался дивный, предвесенний. Воздух чист, всё видно да-

леко и отчетливо, до самых гор, а если обернуться, то и башни Фрауэнкирхе как на ладони. Из поникшей еще травы здесь и там, повсюду, уже подняли головки первые подснежники. В ветвях березы резвятся воробьи, а нетерпеливый шиповник под окнами отцовского кабинета уже распустил первые листочки, да и розоватые бутоны миндаля уже набухают. Снизу бурливым шумом напоминает о себе родимый Изар. Погрузившись в раздумье, Клаус непроизвольно притрагивается ладонью к статуе Гермеса, которая с давних пор поставлена здесь оберегать покой семейства. Он спрашивает себя, способен ли покровитель странников и вправду защитить всех, кого судьба сейчас обрекла на скитания.

Потом Клаус оборачивается, окидывает взглядом роскошный дом. Жила ли хоть одна немецкая писательская семья под столь фешенебельным кровом? Уже двадцать лет здание на Пошингерштрассе, 1, в семейном кругу по-свойски именуемое просто «Поши», – их родной дом. В 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны, Томас и Катя приобрели здесь участок, имея на руках уже четверых детей: Эрику и Клауса, Голо и Монику. Потом, уже в Поши, в 1918-м и 1919-м, к ним добавились Элизабет и Михаэль. Но в просторной вилле на всех места достаточно. Внизу, в гараже, стоят три авто: «хорьх», «бьюик» и маленький красный ДКВ. В цокольном этаже живут пять человек прислуги, помимо упомянутой Курц-Мари, уроженки Нижней Баварии, которая и нянька для детей, и экономка, и служанка на побе-

гушках, есть еще кухарка Анна, горничные Софи и Мария, а также шофер Ханс Хольцнер. Приготовленная внизу еда доставляется наверх, в столовую, специальным лифтом, чтобы не успела остыть. А когда кому-то из господ требуется обновить или поправить прическу, в дом вызывается парикмахер. Словом, добро пожаловать в гранд-отель «Манн». «Богатство меня не страшит», – написал когда-то Томас Манн в шутиливом предсвадебном послании своей невесте Кате.

Фундамент его процветания заложен романом «Будденброки». Подзаголовок: «История гибели одной семьи». Забавно, думает Клаус, финансовый взлет собственной семьи отец построил на повествовании об упадке семейного клана своих родителей. В дешевой серии «Народной библиотеки» издательства S. Fischer продано к этому времени уже больше миллиона экземпляров. Сюда же потекли неиссякаемо щедрые денежные вливания бабушки с дедушкой, Оффи и Офая, проценты с продаж «Волшебной горы» и тому подобное, а в 1929-м Нобелевская премия окаймила всё это изобилие изящным золотым ободком. Да, на Пошингерштрассе, 1, живетя богато, впору подумать, будто здесь и впрямь находится резиденция короля немецкой словесности. Или всё-таки лучше сказать: находилась?

Но уже 18:00. Клаус и Эрика переходят из гостиной в соседнюю, материнскую комнату, где установлен телефонный аппарат. Они начинают разговор очень серьезно, маменька тут же передает трубку Томасу, что случается достаточ-

но редко. Эрика, щурясь от заглянувшего в окно закатного солнца, как можно спокойнее говорит:

– Погода переменилась. Климат здесь отвратительный. Не для вашего здоровья.

А когда отец, явно не поняв иносказаний, отвечает, что скверная погода ему нипочем, послезавтра они уже будут в Мюнхене, Эрика, отбросив все экивоки, говорит прямым текстом, хоть и опасаясь, что разговор прослушивается:

– Отец, ты слышишь меня? Вам категорически рекомендуется пока что оставаться в Арозе.

Молчание на другом конце провода. Долгое молчание. До Волшебника наконец-то дошло.

* * *

Той ночью Томас Манн «ищет прибежища» у Кати, как потом, задним числом, он признается в дневнике. Как это понимать? «Ну, видимо, плакал у нее после того звонка», – переводит нам, недогадливым потомкам, Элизабет, любимое его чадо, много десятилетий спустя. Ибо великий страх внезапно охватывает Томаса Манна – не только за себя и близких. Нет, главная причина его панической атаки – стопка тетрадей с его дневниками, упрятанная в стенном шкафу в его кабинете: тридцать с лишним лет он поверял этим безмолвным хранителям все самые сокровенные, самые интимные свои тайны. Что, если они попадут теперь в чьи-то гряз-

ные руки? Что, если нацисты захотят использовать их против него? Скомпрометировать его, опозорить перед всеми? Лоб мгновенно покрывается холодным потом. И не слегка, а столь обильно, столь крупными каплями, что благоухающий фиалками шелковый носовой платочек уже не поможет.

* * *

И Эрика после телефонного разговора тоже в растерянности. До нее только теперь постепенно доходит вся важность и все возможные последствия сказанных ею слов. Так что, когда 12 марта звонит Ида Херц, чтобы осведомиться о родителях, которые, надо полагать, уже вернулись в Мюнхен, Эрика отвечает, что нет, не вернулись, и в ближайшее время их приезд не предвидится. А еще Ида Херц сообщает ей, что отец волнуется насчет каких-то материалов, нужных ему для работы, он прикидывает, нет ли возможности переправить их в Арозу. Доверить Иде Херц исполнение отцовского пожелания – ну уж нет. Отцовскую благодарность Эрика заслужит сама. А посему, мгновенно приняв решение, она спускается в подвал взять там большой пустой чемодан, с которым и направляется в отцовский кабинет.

Прежде она бы никогда не позволила себе войти сюда, когда отца нет дома. Но сейчас так надо, и вот она впервые вступает в святилище одна, подходит к письменному столу, за которым отец создает свои творения, пестуя свою вели-

кую славу. В этих стенах царит особая, нездешняя тишина. В комнату, заставленную мебелью и книгами, уже вползают предвечерние сумерки. Легкий аромат сигар еще стоит в воздухе, смешиваясь с неповторимым, тронутым сухим тленом, духом старых книг. В углу замерли старинные часы с маятником, слишком давно их никто не заводил, вот они и не тикают, обиженно молчат в ожидании бросившего их хозяина.

Эрика замечает настольный календарь, раскрытый на 11 февраля: уже целый месяц прошел с родительского отъезда. Сегодня-то уже 12 марта. А сколько всего тем временем случилось.

Слева стоит бюст Элизабет, Меди, – в бронзовом обличье она, единственная из чад, сумела пробраться в святая святых. И не счесть, в скольких семьях идет эта извечная, неистовая междоусобная борьба детей за отцовское благоволение. В семействе Манн исход этой борьбы – по крайней мере до поры – решен, объявлен во всеуслышание и вдобавок увековечен непререкаемостью изваяния. В подарок любимой дочери отцом создано к тому же целое произведение, поэма «Песнь о деточке», даже с посвящением, – кстати, текст откровенно слабый, своей беззащитностью вполне ясно свидетельствующий, что рукой автора (с восторгом описывающего, как он намыливает, моет и вытирает дочурку) водила исключительно любовь, но никак не литературное мастерство¹¹. А на столе у Томаса, чтобы любимица всегда

¹¹ См.: «Песнь о ребенке», ТМ, т. 8, с. 95–127, перевод А. Исаевой. Первым

была перед глазами, еще и две фотографии Меди. Об остальных пятерых детях не напоминает ничто. Вообще-то возмутительно. Но таких мыслей Эрика себе не позволяет.

Ибо в глубине души она всё еще не сдалась. Она, как-никак первый ребенок в семье, всё еще мечтает стать любимицей, подняться в иерархии отцовских предпочтений со второго места на первое. Надеется, что Меди, вступив в пору переходного возраста, отца разочарует, хотя бы потому, что перестанет быть той отлитой в бронзе милой девчушкой, которую он воспевал.

А иногда, думает Эрика, Волшебник и на меня смотрит совсем по-особому, как ни на кого из детей больше. С признательностью, что ли. Словно видит, что я понимаю его, как никто другой.

Да и развлечь его никто другой не умеет, как она, маленькими сценками, которые так любит разыгрывать, дурачествами, шутками своими. Уж в этом-то она не сомневается.

На стене напротив письменного стола картина работы Людвига фон Хофмана¹², на ней красуются трое обнаженных, хотя и стыдливых юношей, плещущихся в ручье. Так что и большой вопрос, в каком направлении устремлены чув-

в шеститомном собрании сочинений (Гослитиздат, 1934–1938) был опубликован перевод Ф. Ф. Шульца (т. 6), относительно недавно, под названием «Песнь о младенце», издан перевод В. Елистратова и Е. Шукшиной (*Мани Т. Поздние новеллы*. М.: АСТ; Астрель, 2011).

¹² Людвиг фон Хофман (1861–1945) – немецкий художник, график, дизайнер.

ственные влечения хозяина дома, в этих стенах не остается совсем уж без ответа. «Совсем уж без ответа». Да, именно так, обязательно с вывертом, — только, конечно, гораздо лучше, — сказанул бы, наверно, и сам хозяин дома, ему нравится говорить и писать подобными завуалированными, будто нарочно запутанными фразами. А он по-другому просто не может, и когда злится, называет это «канальством», так что, если надо описать, как кого-то охватывает страсть, у Томаса в одном из рассказов это называется: «его не могло это не растрогать».

Вот и Эрику тоже просто не может не растрогать отец, пусть со всеми его причудами и манерничаньем. Хотя сама-то она, со своей задорной мальчиковой прической, со своим баварским диалектом, предпочитает изъясняться куда прямей и забористей, и плевать она хотела на условности. Братья-сестры не зря говорят, что она единственная в семье, кто способен подсолить и поперчить любое блюдо. И в кабаре «Перечная мельница», которое совсем недавно, в январе, дало первые представления, она, тоже впервые, позволила своему таланту всю развернуться на сцене — вот уж когда она «задавала перцу»: пела, шутила, читала собственные стихи, и ведущей была. Каждый вечер она была в «Бон-боньерке» главной звездой, каждый вечер аншлаг, восторги публики, и всё это в центре, прямо возле Придворной пивоварни. Но сейчас, здесь, одна в полумраке отцовского кабинета, она снова всего лишь маленькая девочка. Словно в за-

медленной киносъемке, Эрика раскрывает принесенный из подвала кожаный чемодан и раскладывает его на полу. Она еще колеблется, спрашивает себя, позволительно ли сделать то, что она задумала, но потом – да, она и в самом деле берет в руки пухлую рукопись третьего тома «Иосифа и его братьев», что лежит на столе. Потом подходит к полке с рабочей библиотекой, выбирает оттуда самые важные издания для отцовского проекта «Иосиф» – тома по египтологии, библеистике – и складывает всё это вместе с рукописью в чемодан. В глубине души истово надеясь, что потом, задним числом, отец одобрит и отблагодарит ее за самовольное вмешательство в его работу. И даже будет ей гордиться.

Чемодан Эрика утаскивает наверх, в мансарду, к себе в комнату. Она никому больше не доверяет, а меньше всего Хансу, их шоферу. Тот уже который день какой-то возбужденный, носится по всему дому и беспрестанно уговаривает ее и Клауса уезжать. Хорошо, думает Эрика, что я в состоянии уехать из Мюнхена, не прибегая к его услугам. Ведь у нее своя машина, ее любимый «форд», на котором она не одну тысячу километров исколесила, полсвета почти.

И она, Эрика, тоже, как и Клаус, постоянно в разъездах, в дороге, лишь бы вырваться из странной ауры, непостижимо-го магнетического притяжения родительского дома. В конце двадцатых годов оба они даже заключили помолвку, правда, не друг с дружкой, как по меньшей мере одному из них, Клаусу, больше всего хотелось, но с другими партнерами, ко-

которые отнеслись к этому событию столь же несерьезно, как и они сами. Клаус выбрал себе в невесты лучшую подругу Эрики, Памелу Ведекинд¹³, а Эрика даже вышла замуж за Густава Грюндгенса¹⁴, хоть того больше интересовали мужчины вообще и Клаус в особенности. Так что, начавшись сумбуром, всё в итоге завершилось разрывом почти так же быстро, как началось, и оба старших чада distinguished семейства знаменитого писателя, Клаус и Эрика, под дружные насмешки недреманной светской публики, со всеми пожитками снова вернулись восвояси, в свои детские комнаты на Пошингерштрассе. И с тех пор обитают там, по утрам и вечерам деля общую ванную комнату и зубную пасту с Голо и Моникой, Михаэлем и Элизабет, или, как называют их домашние, с Гёльхеном и Мони, с Биби и Меди. Но Гёльхен теперь в Гёттингене, Мони, наименее любимое чадо, отправилась в Берлин учиться музыке, а заодно и жизни, Биби в интернате, а Меди, любимое чадо, сейчас вместе с родителями в Швейцарии. Так что в эти дни в доме остаются только Клаус и Эрика, и оба особенно остро, кожей ощущают зловещую пустоту родительского отсутствия: даже вся прислуга, лишившись хозяев, напоминает позабывших свои роли актеров. Да, без молчаливого, вечно погруженного в свои мысли

¹³ Памела Ведекинд (1906–1986) – актриса, дочь драматурга Франка Ведекинда.

¹⁴ Густав Грюндгенс (1899–1963) – актер и режиссер театра и кино, заметная и противоречивая фигура культурной жизни Германии с двадцатых по шестидесятые годы XX века.

отца и его динамичной противоположности, всё контролирующей, всем заправляющей матери огромный дом в мгновение ока погружается в гнетущее безмолвие, словно кто-то шнур из розетки выдернул.

Уже вскоре Эрика ложится спать, но покоя нет, ночь, короткая, муторная, знобкая, проходит почти без сна. Назавтра, 13 марта 1933-го, чуть свет, она будит Клауса, своего «Айси», заглянув к нему в комнату попрощаться. Он еще толком не проснулся. Она целует его в лоб, после чего, подхватив упакованные еще с вечера чемодан с отцовскими книгами и рукописью, а также дорожную сумку, загружает всё в «форд», еще вчера оставленный у крыльца. И разом рвет машину с места. Ей страшно. Она сама до сих пор изумляется тому, на что решилась. На границе с подчеркнутым дружелюбием, на ядреном баварском здоровается с постовами, и те пропускают ее, ни о чем не спросив.

В солнечных очках, выжимая из мотора все его лошадиные силы, она промчится триста шесть километров до лесного отеля Arosa за четыре с половиной часа. На последнем участке, после Кура, где, взбираясь по склонам Шанфигской долины, дорога закладывает более двух сотен серпантинных виражей, Эрика начинает чувствовать, какой реакции от отца она ждет. Все шестеро детей сызмальства приучены и уже привыкли жадно ловить малейшие знаки от их столь безмолвного, столь многозначительно молчаливого отца: приподнятую бровь, заинтересованный вопрос, вдруг припом-

нившуюся давнюю фразу. Из подобных мелочей они потом выстраивают для себя нечто грандиозное – надежду, признание, доказательство любви. В ожесточенном соперничестве все шестеро денно и нощно только и ждут едва уловимых, почти неприметных проявлений отцовского внимания. Да, все они, все шестеро шутят, пишут, музицируют ради одной только, единственно великой цели: чтобы отец, Волшебник (как называют его трое старших), он же господин Папенька (как величают его трое младших), явил им свою благосклонность. И тем самым, пусть хоть на краткий миг, выделил счастливчика из общего ряда остальных братьев и сестер.

Вот и сейчас Эрика спрашивает себя: когда, может, прямо сразу отец скажет, до чего он ей благодарен за то, что она спасла рукопись «Иосифа»? А вдруг даже похвалит ее, будет гордиться ее прозорливостью и отвагой? Осознает ли он, какой она сегодня, да вот только что, – и всё ради него! – совершила подвиг? Да, это она, создательница нашумевшего кабаре, уже преследуемая нацистами за свои выступления, под видом обычной туристки в целости и сохранности контрабандой перевезла в безопасное зарубежье драгоценную отцовскую рукопись. С каждым километром ожидания ее растут.

Немного позже, уже в вестибюле лесного отеля, когда она с гордой улыбкой вручает отцу чемодан и торжественно сообщает, что в нем находится, – а именно его бесценная рукопись и книги, буквально в последнюю минуту вывезенные

из нацистской Германии, – тот слегка ошарашено принимает чемодан и смущенно бормочет: она, что, правда полагает, что это было необходимо? Он, к сожалению, не может ни Кате, ни Эрике признаться, что его-то прежде и больше всего тревожит судьба дневников со всеми его сокровенными тайнами, а те всё еще в Мюнхене, просто в стенном шкафу. А посему он, как и в большинстве подобных случаев, предпочитает... не говорить ничего.

Разочарованная Эрика подходит к стойке портье спросить насчет номера. Да, на четвертом этаже один свободный еще есть, прекрасный номер, светлый, и вид на горы замечательный.

– А счет, как всегда, записать на родителей? – спрашивает дама из-за стойки.

Оглянувшись назад, где родители растерянно смотрят то на тяжеленный чемодан, то, еще растеряней, на нее саму, она, слегка упавшим голосом отвечает:

– Да, всё как обычно. Счет на родителей.

* * *

А что же Клаус? Он уже заказал билет, чтобы сегодня же вечером ночным поездом уехать в Париж. Ибо намерен увенчать свой позавчерашний вопрос «Уезжать?» решительным восклицательным знаком. К родителям в Швейцарию его совершенно не тянет, нет, он надеется, что любимая, равно-

душно-фривольная Франция примет его, гражданина мира, в теплые объятия, раз уж нелюбимая Германия столь бессердечно его отталкивает. Но до отъезда еще целый долгий день, который надобно как-то убить. Клаус названивает по телефону, пишет несколько писем. Смотрит в окно на ветви большого каштана: из клейких коричневых почек уже прорезается первая, такая нежная зелень. «Только вот кто в этом году увидит твою листву, твои плоды? Я, пожалуй, нет», – бормочет он. Потом вызывает шофера Ханса и велит отвезти его на «хорьхе» в город: в банкирском доме Feuchtwanger надо снять денег, а в бюро путешествий забрать билет на ночной поезд. И вот тогда-то, уже в городе, в свои последние часы на немецкой земле, Клаус в одном из переулков замечает несметное скопление народу, потому что там возле одного из домов и в самом деле стоит «мерседес» Гитлера. Немедленно, с отвращением он приказывает везти себя домой, тогда как шофер, похоже, возбужден и даже воодушевлен увиденным. Но дома к нему уже вскоре приходит Герберт Франц, по прозвищу Бабс, нынешний его любимец, последний раз они виделись три недели назад на буйной вечеринке в честь «Перечной мельницы», Бабс тогда был в костюме альпийского крестьянина. Вообще-то он актер в театре «Каммершпиле», и в кабаре у Эрики тоже играет – смазливенького лифтбоя. Вместе с ним и экономкой Курц-Мари Клаус обедает – это его последний в жизни обед на Пошингерштрассе, 1 (о чем он пока что, конечно, не знает). Потом они с Бабсом

переходят в солидную, богато облицованную деревом гостиную, пьют кофе с ликером, Клаус задерживает тяжелые шелковые портьеры на окнах эркеров и решает завести граммофон. Разумеется, никто не умеет проделывать это с таким же степенным достоинством, как Волшебник, но его сейчас дома нет. Так что Клаус принимается за дело сам, что выходит у него гораздо суетливей, однако в конце концов всё получается. И что же он ставит? Нет, не те две пластинки, что, как особенно любимые отцом сейчас, лежат рядом, не Первую симфонию Брамса и не Четвертую Гайдна. На прощание он ставит – в это почти невозможно поверить – «Песни об умерших детях» Густава Малера¹⁵. Неизбывной скорбью наполняют они опустевший дом. Это отчаянная попытка всё же утешить безутешных – музыкой и словом. Уже вскоре безутешный Клаус не выдерживает и идет на балкон, поскорее обняться с Бабсом, «tendresse»¹⁶, запишет он в дневнике, ибо в предвкушении Франции думает уже по-французски. Но Бабсу вскоре уходить, работа не ждет. Попрощавшись с ним, оставшись один в гостиной, Клаус не знает, куда себя девать. Чем заняться в последние часы на родине, о чем поразмыслить, обходя родительский дом, быть может, в последний раз? Телефон звонит, Клаус не подходит: наверно, опять Волшебнику, может, Ида Херц, чей озабоченный,

¹⁵ Вокальный цикл на стихи немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта (1788–1866).

¹⁶ «Нежности» (франц.).

сочувственный голос он сегодня не может слышать.

Гнетущая, убийственная тоска охватывает Клауса.

Вон и Курц-Мари еле плетется по дому, словно чугунные гири перетаскивает. За ней по пятам вяло бежит Муши, мальтийская болонка, у нее даже челка сегодня какая-то унылая, скучно ей без Меди и Биби, она даже ест плохо. Клаус склоняется к ней, гладит по трогательно кучерявой шерстке, но мимоходом, всё еще раздумывая о своем.

И тут взгляд его падает на приставной столик, на котором красуется большой глобус: сколько-то лет назад они с Эрикой из очередного вояжа по белу свету привезли его родителям в подарок. Чтобы те всегда могли отследить, куда на сей раз занесло их неугомонных чад. Тонкими, изящными пальцами Клаус трогает глобус поначалу слегка, но потом раскручивает всё сильнее, он, вечно и повсюду безродный скиталец, вертит планету всё быстрее и быстрее, уже слышно, как поскрипывает ось, и Клаус чувствует приятное, теплое головокружение, словно обволакивающий дурман медленно проникает в его кровь.

Но нет, сегодня он обойдется без вливаний, нет, только не сегодня, это даже для него было бы как-то ниже его достоинства. Земной шар крутится, как безумный, даже континентов уже не видно, только голубоватую синь океанов. Клаус отводит руку.

Глобус всё вертится, всё шуршит, но вот мало-помалу становятся различимы континенты, а потом, постепенно, и

страны, покуда в конце концов, рано или поздно, время оставливается, замирает – и снова всё тихо.

Подле глобуса стопками сложены книги и свежие журналы, чтобы как-то отвлечься от подступающего желания забыться, Клаус наугад берет томик Рильке, «Записки Мальте Лауридса Бригге». И пугается, когда видит, какое предложение он когда-то давно подчеркнул: «Опасность стала вернее всякой уверенности»¹⁷. Тоска одиночества накатила еще сильнее. Скорей снова к граммофону. К «нашему дорогому аппарату „Электрола“», как сказал бы отец. Снова завести. Еще раз поставить «Песни об умерших детях», на сей раз он и Курц-Мари, что неведомо откуда объявилась на лестнице и застыла там с перепуганным лицом, заставляет вместе с ним дослушать все пять песен до самого конца, до горестного финала. У Курц-Мари и после первых аккордов уже слезы на глазах. В четвертой из песен, положенных Малером на музыку, говорится вот о чем:

И мнится мне, они вот-вот вернутся, И в дом войдя, счастливо рассмеются. Как день хорош! К чему твой страх? Они лишь загулялись на холмах! Сомнений нет, они вот-вот вернутся, И в дом войдя, счастливо рассмеются. К чему твой страх? Как день хорош! Ты на холмах их тотчас же найдешь! Они лишь обогнали нас в дороге, Им не бывать уж на родном пороге, Мы их нагоним вон на тех холмах, Что утопают в солнечных лучах, О как же день хорош на тех холмах!

¹⁷ Перевод Е. Суриц.

Музыка смолкла, но слова всё еще не умолкают у Клауса в голове. Фридрих Рюккерт сочинил их после смерти двоих из шестерых своих детей, а Густав Малер положил на музыку. Три года спустя умерла и его Мария Анна, их с Альмой Малер-Верфель¹⁸ дочурка.

Клаус тигром мечется по пустынным покоям писательского дома, в чьих стенах всё еще эхом отзываются «Песни умерших детей», минует на втором этаже чучело сибирского медведя, который еще в любекском родовом гнезде их семьи точно так же безропотно стоял с поднятой лапой, потом отправляется наверх, к себе в комнату, в намерении упаковать в дорогу самое необходимое, почти не веря, что и вправду это сейчас сделает. Вынужден будет сделать. Обычно, проходя мимо зеркала, – как и сейчас, в коридоре, всё еще с сигаретой в руке – он мельком успевает проверить, в порядке ли прическа. Но сейчас, под безупречным пробором, в слуховых проходах всё еще снова и снова, неотвязно, звучит: «Они лишь обогнали нас в дороге, им не бывать уж на родном пороге».

Позвонить, что ли, кому-то из друзей? Но шофер Ханс его предостерег: телефон прослушивается, – знать бы, откуда именно ему об этом известно? Что ж, коли так, Клаус спускается в подвал, выбирает из отцовских запасов бутылку луч-

¹⁸ Альма Малер-Верфель (урожд. Шиндлер, 1879–1964) – австрийская деятельница искусств и культуры, супруга и спутница жизни композитора Густава Малера, художника Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса, писателя Франца Верфеля.

шего французского коньяка и несет наверх. Вызывает к себе несколько ошарашенного шофера, лишь бы было с кем выпить. Но, подняв бокалы, ни один не знает, за что именно они пьют, а коли так, чокаются молча.

После чего Ханс удаляется во двор, подогнать машину. Услужливо распахивает дверцу с теми же словами, с которыми распахивает ее вот уже семь лет всякий раз, когда Клаус пускается в один из своих бесчисленных побегов – от отца, от самого себя.

– На вокзал, господин Клаус?

– На вокзал.

Словно всё как всегда.

Однако уже в машине, когда пересекают Изар, что по-весеннему бурлит и пенится под мостом, шофер вдруг производит:

– Сегодня, наверно, я в последний раз везу кого-то из семьи господина Манна. Уже завтра с утра машина будет стоять в гараже «коричневого дома».

Клаус ушам своим не верит. Но шофер как ни в чем не бывало продолжает радостно болтать:

– Очень уж ваша машина майору Клёчке приглянулась, говорит, это будет его персональное авто.

Ошеломленный Клаус не знает, что сказать. Зато шофер знает:

– Вы поймите мое положение, господин Клаус. Жить-то ведь хочется. Надеюсь, вы не в обиде?

– Не в обиде, – ошеломленно отвечает Клаус. У него просто в голове не укладывается: двух месяцев, считай, не прошло, а их наемный работник, столько лет прослуживший в семье, уже переметнулся к врагам и даже этого не стыдится.

Машина останавливается перед вокзалом. Не подавая Хансу руки, Клаус сам открывает дверцу, и, бросив шоферу холодное «адё», делает последние шаги по немецкой земле, после чего садится в поезд, который уже подан, уже ждет на перроне. Парижский ночной. Сколько раз он уезжал на нем ради собственного удовольствия, сколько раз...

У Клауса и сейчас с собой только два чемодана, в одном пишущая машинка, в другом немного белья, легкое пальто да несколько книг и журналов. Не больше, чем он обычно берет с собой в путешествие. Или он надумал этак судьбу переспорить?

На границе, уже глубокой ночью, после отмашки таможенников и пограничников, когда в окно купе заглянут первые желтые огни французских фонарей, Клаус достанет из чемодана свой дневник, нацепит очки и проведет решительную черту под предыдущей записью. В ритмичных промельках света, на новой странице, он напишет только два слова: «Начало эмиграции». Двенадцатью часами позже любимой сестры, тремя неделями позже дяди Генриха. «Они лишь обогнали нас в дороге, уж не бывать им на родном пороге»; всю ночь неотвязные строки снова и снова будут звучать у него в голове.

«Начало эмиграции». Два слова, которые Томас Манн ни при каких обстоятельствах записывать в дневник не желает. Да что там, он даже произносить их не намерен. Он, представитель немецкой культуры, – нет, быть может, даже сильнее: ГЛАВНЫЙ представитель немецкой культуры, изгнан из Германии? Такого быть не может, говорит он Кате, это просто невозможно. За окнами бесстыдная синева неба, не желающая ничего знать о внутренних бурях и ненастьях в его душе. Потерянные, сбитые с толку, они сидят в Арозе у себя в гостиничном номере. Катя знает: ее муж всегда считал себя последним представителем великой эпохи. Но ни он, ни она никогда не думали, что эпоха закончится так быстро. Неужто это и есть пресловутый *закат Европы*, воспетый Освальдом Шпенглером?

Однако ничего не поделаешь. Ежели судьбе угодно, чтобы наш удел обрел значимость символа, нам остается лишь принять вызов, торжественно заявляет он Кате, грозно посверкивая стеклами очков. Чуть позже, однако, он осознает: вообще-то у него на это нет сил. Именно сейчас, в данный исторический момент, ему совсем не хочется приобретать значимость символа. А лучше всего просто вернуться домой, обратно в Мюнхен, в любимый дом на Пошингерштрассе, в привычный быт, привычную жизнь, привычный порядок.

Он растерянно смотрит в окно, где царит буйство солнечного света. Не погода, а мечта. Да толку что, если у тебя такое чувство, будто ты угодил в вязкий кошмар и никак не можешь проснуться? Как вышло, спрашивает он себя, что поездка на отдых всё больше приобретает характер сущего канальства? Он снимает очки в золотой оправе, почему-то дужки сегодня давят на его чувствительные виски.

– Да, в мире полно злобы и глупости, наверно, пора бы уже привыкнуть, – изрекает Томас.

– Томми, может, тебе прилечь? – мягко советует его супруга. – Да и Эрика, наверно, немного драматизирует.

Катя чувствует, насколько у мужа взвинчены нервы. Но вечером в компании других постояльцев они в салоне снова сядут играть в карты, под бутылочку сотерна, это немного обоих отвлечет.

Три недели намеревались они провести в этом отеле, в его, Томаса, «Волшебной горе», в точности как и Ханс Касторп, герой его романа. Неужто три недели превратятся теперь в годы? Неужто его жизнь повторит книгу, превратится в его роман? Он всё еще не в силах в такое поверить. «Иногда, – вспоминает его дочь Моника, – отцу кажется, будто он что-то выдумал, а оно было на самом деле, а иной раз, наоборот, он считает, будто описывает пережитое, а это вымысел».

* * *

Для Голо Манна этот март в Гёттингене превращается в сплошной кошмар. После того, как он в каком-то кабачке позволил себе критически высказаться о Гитлере, в его студенческую каморку вламываются гестаповцы. Ему удается уверить визитеров в своей невинности. Но, когда уже после допроса и множества угроз по его окончании за незваными гостями наконец захлопывается дверь, Голо понимает, что его всего буквально трясет. Опасность стала вернее всякой уверенности.

* * *

Клаус Манн в Париже, но Парижа не видит. По-настоящему, как привык, как полагалось бы, не видит. По пути из Мюнхена в Париж в купе спального вагона он позабыл очки и теперь передвигается по бульварам почти ощупью, словно крот. Немецкие газеты, на которые он набрасывается каждое утро в Café du Dôme, он толком читать не может – перед глазами всё плывет. Так что первое его письмо из Парижа адресовано обратно в Германию, в мюнхенское управление железных дорог, – не находились ли часом очки, его очки? Запрос, однако, остается без ответа. Так что на следующий

день он вынужден купить себе в Париже новые – и сетует: «Господи, до чего же дорого!»

* * *

15 марта 1933 года, через четыре дня после знаменательного звонка двоих старших детей, два дня спустя после приезда Эрики к ним в отель, Томас находит в себе силы начать новую тетрадь своего дневника. Общая тетрадь, стандартного формата А5, в простеньком черном коленкоре. Присутствие рядом обеих любимых дочерей, Меди и Эрики, заботливый присмотр Кати – и то и другое ободряет, придает ему толику уверенности, человек ведь ко всему привыкает. Или, по крайней мере, делает вид.

У себя в номере Томас достает вечное перо «Уотерман», усаживается за небольшой столик, худо-бедно приспособленный на роль письменного, и пытается облечь в слова свои смутные чувства, – когда жизнь грозила выпасть из положенной колеи, это всегда помогало. Он привычно проводит ладонью по бумаге, словно смахивая незримую пыль, и выводит зачин: «Это нечто вроде боязливо крепнущего чувства щемящей тоски, в более мягкой степени знакомого мне по другим опытам расставания». Он страдает от «боли оторванности от исконного, давно привычного состояния».

Вот, значит, как оно звучит, когда владеющий собой ганзеец смутно ощущает, что всю прежнюю жизнь придется

оставить. Что всё позади.

Как странно, напишет он позже другу Рене Шикеле¹⁹: покидаешь родину, чтобы в Амстердаме и Париже поговорить о Рихарде Вагнере, а когда хочешь вернуться, оказывается, что родина от тебя сбежала.

Непринужденным тоном светской болтовни он здесь пытается прикрыть неподдельную душевную боль. Ибо в эти мартовские дни 1933 года он, Томас Манн, летит в пропасть неопределенности. Ему, всю свою жизнь построившему на соблюдении формы, на ежедневных ритуалах, на незыблемой опоре под названием «дом и кров», – именно ему грозит опасность всё это потерять. Какие бы новости ни приходили из Германии, он упрямо продолжает считать происходящее грандиозным недоразумением. Чем-то, что через пару месяцев сгинет без следа. И он совсем уже было собрался написать нацистским властям и заявить, что не верит, будто свою политику они всерьез могут направить и против него, автора «Будденброков» и «Волшебной горы», лауреата Нобелевской премии (а немного позже он и в самом деле так поступит).

Но пока что, пожалуй, «всем подверженным опасности членам семьи возвращаться в Мюнхен не рекомендуется», сухо записывает он у себя в дневнике. Только Катя и Меди скоро туда отправятся, чтобы навести порядок в осиротелом

¹⁹ Рене Шикеле (1883–1940) – немецко-французский писатель, поэт, эссеист, переводчик, пацифист. Писал на эльзасском диалекте немецкого языка.

жилище и дать указания прислуге. Ну, и Меди ведь в школу вернуться надо.

В поступке Эрики, привезшей ему рукопись «Иосифа», как он по-прежнему считает, не было столь крайней необходимости, упоминает о нем лишь по разряду «среди прочего», но и тогда неизменно в конце перечисления, дескать, Эрика привезла ему много «всякого чтения», книги, журналы, а еще, да, рукопись. Что поступок сей был актом настоящего «геройства», якобы отмеченный в семье чуть ли не торжествами в ее честь, эту легенду Эрика произвела на свет сама и много лет спустя весьма красочно расписала в своих книгах. Так что рано или поздно даже отец ее в эту легенду поверит.

Но сейчас он пока что о такой мелочи и не упоминает почти. Еще несколько недель – и, наверно, уже снова можно будет воцариться в собственной резиденции в Мюнхене, Гитлер – просто мимолетное недоразумение, да, Томас совершенно уверен, «мир только руками всплеснет, вспоминая об этом ребяческом варварстве». А уж в июле, к Катиному пятидесятилетию, всё семейство, конечно же, отправится на летний отдых в Ниду, на Куршскую косу, в новую, роскошную, только что отстроенную курортную виллу на самом далеком, северо-восточном побережье рейха.

К тому времени, надо полагать, весь ужасный морок и вправду сгинет без следа. И снова жизнь, в прежних формах. Героическая чистота и безучастность грандиозного гор-

ного ландшафта весьма укрепляет Томаса в подобных мыслях.

* * *

Михаэль, младший из сыновей, которому недавно тринадцать исполнилось, из интерната Нойбойерн пишет родителям в Арозу. На школьном празднике у них маршировали штурмовики, все пели «Хорста Весселя»²⁰ и размахивали нацистскими флагами. Только он на пару с другом «по-немецки доблестно на всё это блевали и еще доблестней отказались принимать участие в праздновании дня рождения Третьего рейха». На Пасху, добавляет он, несколько учеников собрались поехать в Рим, не может ли мама выслать 150 марок сверх положенного? Она высылает. Как обычно: ни в одной денежной просьбе ни одному из шестерых детей она ни разу не откажет. Хотя в данном случае, быть может, Михаэль или Катя уже подумывают о том, что поездка в Рим очень даже подходящая возможность для мальчика вполне легально выехать из страны?

²⁰ «Песнь Хорста Весселя» – политическая песня-марш, с 1930 года, по сути, гимн национал-социалистов, названный так по имени его автора Хорста Весселя (1907–1930) – нацистского активиста, члена штурмовых отрядов.



Но вот, наконец, хоть какое-то утешение для Томаса Манна: сюда, в Арозу, почтальон приносит письмо от Иды Херц. Она спешит поздравить «глубокочитимого господина доктора» с его мудрым решением оставаться в Швейцарии. О каком решении она узнала после телефонного разговора с «госпожой Эрикой». И полагает очень правильным, весьма целесообразным для него пока что не возвращаться на родину «не только из-за возможной физической угрозы», но и ввиду «душевной подавленности, которая для вас, как мне кажется, была бы почти непереносимой. Ведь даже мы, обычные люди, страдаем от нее безмерно! А уж как страдали бы от нее вы, глубокочитимый господин доктор, столь чуткий, – продолжает она курить фимиам своему кумиру, – столь обостренно ранимый художник, даже и вообразить невозможно». Вот такие утешения – когда «обычные люди» там, внизу, с благоговением устремляют взоры в его глубокочитимые выси и сочувствуют ему, сострадают, жалеют его, – вот такое обхождение ему, нобелевскому лауреату, очень даже по душе. М-да, задается он вопросом, и почему, собственно, отнюдь не все со столь же безусловным пиететом принимают во внимание его «обостренную ранимость», как эта Херц?

После бегства Генриха Манна гестаповцы арестовывают его оставшуюся в Германии спутницу Нелли Крёгер, а их совместную квартиру переворачивают вверх дном. Впрочем, сейчас, по прошествии лет, трудно в точности установить, что конкретно происходило в их совсем недавно обретенном жилище на берлинской Фазаненштрассе, да и с самой Нелли, ибо и ее письма во Францию, и ответы Генриха полны только им двоим понятных намеков и иносказаний. Ясно одно: жизнь Нелли превращена нацистами в сущий ад, допросы, если не истязания, не прекращаются, и только благодаря Минго, сводному брату, который служит в войсках СС, ей, судя по некоторым свидетельствам, через два-три дня всё-таки удастся освободиться из застенков. Сохранилось подписанное врачом в эти дни медицинское заключение, констатирующее постоянное наступление у пациентки обморочных приступов.

А квартирка, обставленная и обживаемая с такой любовью, с прицелом на долгие годы, разворочена и испоганена полностью, каждый уголок обшарен, перед дверью дежурят полицейские. Телефон прослушивается. Короче, как пишет Генрих в одном из писем, употребляя именно такое же целомудренное многоточие, «заср... ая жизнь».

Тем не менее именно в это время и в таких обстоятель-

ствах Нелли поручено снять для Генриха деньги со счета и переправить за границу, чтобы как-то обеспечить его существование во Франции; с коей целью Генрих изобретает поистине редкостную по несуразности историю, согласно которой Нелли у него в доме всего лишь экономка, до того ему преданная, что он задолжал ей 3300 рейхсмарок, поскольку целых два года не выплачивал ей жалованье. Да, когда дело принимает серьезный оборот, «Хайни» Манн в полной мере обнаруживает недюжинный талант простофили. Однако, как ни удивительно, Нелли и вправду удается убедить чиновников из управления полиции в достоверности столь сумасбродной сказки. В чем ей, скорей всего, помог ее более чем богатый жизненный опыт. Так что теперь, пишет она Генриху, ему остается только подтвердить ее показания в официальном, равносильном присяге письме некоему доктору Клинке из управления полиции.

К своему посланию она прикладывает для Генриха еще и газетную вырезку – более чем недвусмысленное свидетельство того, как теперь к нему относятся официальные власти: «Бесследно исчез, – сообщается в заметке, – бывший штабной горнист ноябрьской академии Генрих Манн. Ни одна душа не знает, где его искать. Особо посвященные лица уверяют, будто он уже погребен в парижском Пантеоне. Если так, мир его красному социалистическому праху». Отослав письмо, Нелли тоже стремительно спасается из Берлина бегством – она спрячется у своей семьи, в Ниндорфе, на балтийском

взморье. С возлюбленным Руди Кариусом она в эти последние берлинские дни виделась вряд ли – молодой коммунист залег на дно после того, как в уличном сражении прямо перед его домом был застрелен полицейский, и с тех пор весь печально известный 33-й отряд штурмовиков «Шарлоттенбург» только этого Руди и разыскивает.

* * *

Именно в этом, до предела раскаленном политическими боями Берлине, совсем неподалеку от опустевшей ныне квартирки Нелли Крёгер и Генриха Манна, в те же мартовские дни, пребывая в превосходном настроении, по весенним улицам безмятежно слоняется еще один член манновского семейства: Моника, или Мёнле. Мы почти ничего не знаем о ней и ее времяпрепровождении в эту пору, лишь ее бабушка Хедвиг да еще брат Клаус иногда сообщают о пришедшей от нее открытке, ни одна из которых, увы, не сохранилась. Отец в дневнике не упоминает о ней ни разу и только в мае спохватится, что она, оказывается, всё еще в Берлине.

Да, с одной стороны, Моника в эпицентре урагана, но как бы в обманчивом затишье его так называемого ока, – и в то же время она и в отдалении от утомительного семейного «пригляда».

Странно, но факт.

Судя по всему, Моника совершенно не знает, куда себя

девать в этой жизни, ее аморфность окружающих просто бесит, безалаберность ее существования сродни непокорству ее встрепанных волос. Большую часть времени она, витая в облаках, музицирует на рояле, то и дело в кого-то влюбляется, но никогда никуда не спешит и вечно всюду опаздывает, где бы она ни объявилась, все прочие обычно давно уже в другом месте. Так и сейчас, в феврале 1933-го. Ее родители и старшие брат с сестрой уже покинули страну, с возрастающим страхом следя из-за границы за жуткими новостями из гитлеровского Берлина, – а Моника, отрешенная от докучливой злобы дня, именно в этом Берлине в беззаботной праздности гуляет ночи напролет. Ей двадцать три года, и свободой от родительского присмотра она наслаждается взхлеб. Осознаёт ли она вообще, что на самом деле творится вокруг нее в этом Берлине с его факельными шествиями штурмовиков и террором гестапо?

Живет она около Байришерплац, в гостевой комнате пусть и допотопной, но просторной, семикомнатной квартиры ее пятидесятиоднолетнего дядюшки Хайнца Прингсхайма, Иннсбрукерштрассе, 56. Дядюшка, как и Моника, тоже белая ворона в семействе, что, вероятно, и связывает обоих, – ему всё никак не могут забыть самовольный мезальянс со взбалмошной русской художницей, хоть той уже нет в живых²¹. Поскольку Хайнц Прингсхайм когда-то и сам учил-

²¹ Первая жена Хайнца Прингсхайма – художница Ольга Меерсон (1882(?)–1930). Студентка Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ученица

ся музыке (на композитора, но стал музыкальным критиком)²², в его гостиной стоит дивной красоты фортепьяно, за которым Моника с удобствами и располагается каждый день, подбирая аккорды, созвучные томлениям ее души. А кроме того – и это еще большее удобство – от квартиры дядюшки совсем недалеко, минут десять ходьбы, до бара «Жокей», Лютерштрассе, 2, где Монике в один прекрасный день явится ангел.

Если быть совсем точным, Эрнст Энгель²³. Родился в 1901-м, значит, на девять лет ее старше. Каждый вечер этот еврейский пианист играет в «Жокее», одном из самых из-

Василия Кандинского, муза Анри Матисса, в Мюнхене была близка к объединению художников «Синий всадник» и на этой почве вскоре оказалась вхожа в дом четы Прингсхайм. Известно ее письмо Томасу Манну от 02.06.1911 – об имени Тадзио для персонажа «Смерти в Венеции». Вышла замуж за Прингсхайма в 1912 году. В 1913-м в браке родилась дочь Тамара. Ольга Меерсон ушла из жизни, прыгнув с пятого этажа отеля Adlon. Ее творчество было забыто, многие картины утрачены (в том числе портрет Клауса Манна). Лишь в 2025 году состоялась выставка работ Меерсон в Schlossmuseum Murnau (Германия) и была опубликована биография: *Jütte R. Olga Meerson-Pringsheim: Eine russisch-jüdische Malerin im Umfeld von Wassily Kandinsky, Henri Matisse und Hedwig Pringsheim*. Berlin: Neofelis Verlag, 2025. (Примеч. ред.)

²² Хайнц Прингсхайм (1882–1974), начинавший профессиональную деятельность как археолог (опубликована диссертация), в 27 лет переключился на музыку, но при нацистах, уже будучи достаточно известным музыкальным критиком, подвергся запрету на публикации. После 1945 года руководил музыкальной редакцией на Баварском радио (Bayerischer Rundfunk). Вторым браком был женат на Маре Дувé (1897–1965), профессоре Мюнхенского университета музыки и театра.

²³ Энгель (Engel) – ангел (нем.).

вестных ночных клубов города, где совсем недавно охотно сживала, выпивала и курила сама Марлен Дитрих, зайдя сюда после съемок на студии UFA или, если занята в спектакле, после театра, примерно с тех же пор и Энгель, получая по 15 рейхсмарок за вечер, услаждает здесь публику своим мастерством виртуоза. Причем с особым успехом – новую, недавно прибывшую гостью, Монику Манн. Так что, когда однажды, уже совсем поздно, после всех популярных шлягеров и джазовых импровизаций он вдруг заиграет «Гольдберг-вариации» Баха, Моника поймет, что она пропала. Она прождет музыканта до самого закрытия, после чего они пойдут бродить по ночным улицам, в первый раз дело ограничится разговорами (он еще и философию изучал), во второй – поцелуями, об остальном история умалчивает.

Рассказал ли ей Энгель, что тремя годами ранее он женился на своей суженой Ильзе Вюрцлер, с которой они и живут в Целендорфе? Поначалу, очевидно, всё-таки нет, ибо в столице тысячелетнего рейха Моника Манн и Эрнст Энгель переживают в эти дни бурную весну опьяняющей влюбленности: «Был уже полицейский час, мы вышли в позднюю рань зимней ночи, чью темень уже тронули серые просветы утра. От нашего дыхания в воздухе клубился пар», – вспоминает Мони. Потом они садятся в ее малолитражку, в «опелетку», родительский подарок, и «нам было легко, так легко, потому что мы в ту ночь совсем не спали и потому что любили друг друга». По томно-сентиментальной стилистике впору поду-

мать, будто это Маша Калеко или Рут Ландсхоф²⁴, но это – Моника Манн.

* * *

Расходы на гостиницу в Арозе – номера для него и Кати, потом для Меди и, наконец, для Эрики и ее подруги Терезы Гизе, тем временем тоже с успехом сумевшей бежать из Мюнхена, – по прикидкам Томаса мало-помалу начинают превосходить все разумные пределы. Да и бывшая недолгая уверенность уже снова улетучилась, он понятия не имеет, как можно в пятьдесят семь лет с бухты-барахты начать жизнь сначала.

Вообще-то Катя и Меди намеревались возвратиться в Мюнхен: одна – чтобы приглядеть за домом, вторая – чтобы снова пойти в школу. Но Томас вдруг категорически отказывается отпускать жену и любимую дочку. И не потому, что опасается за обеих. Он за себя опасается: «Расставание с моими внушает мне страх, хоть я этого и стыжусь». И далее

²⁴ Маша Калеко (псевдоним Голды Малки Ауфен, 1907–1975) – немецко-еврейская поэтесса, с 1938 по 1956 год в эмиграции в США, через три года после возвращения в Германию переехала в Израиль. Рут Ландсхоф (урожд. Рут Леви, 1904–1966) – немецко-американская писательница и актриса еврейского происхождения, в молодости более успешная в театре и в кино, чем на литературном поприще. Племянница издателя Самюэля Фишера (1859–1934), после 1933-го жила во Франции, Англии, затем в США, в эмиграции сосредоточилась преимущественно на журналистской и переводческой деятельности.

следует до того закрученная словесная конструкция, что кажется, будто все элементы ее вот-вот лопнут от напряжения: «Отчаяние от сомнения в моей жизнеспособности после нарушения и без того шаткого, с трудом обретенного временного равновесия».

Меди, однако, настаивает на отъезде, ей хочется снова в школу, – родители, скрепя сердце, дают добро на ее отъезд, звонят в Гёттинген Голо, пусть он переберется в Мюнхен и приглядывает за сестричкой. Томасу невероятно тяжело смотреть, как любимое дитя от него уезжает, но тем не менее дочка садится в Куре на поезд и отправляется домой.

В Мюнхене ее заключает в счастливые объятия Курц-Мари, уже было и не чаявшая увидеть девочку снова. И Муши, ее собачка, радостным тьяканьем нечто в том же духе пытается выразить.

Не сказать, чтобы вынужденный отъезд из Гёттингена был Голо так уж некстати: злополучная история с дневником и самоубийством соседа всё еще бередают его душу. К тому же втайне он гордится: отец впервые поручил ему столь ответственную миссию. Ему, вечному неумехе и копуше, тому, кого в пору младенчества родители считали до ужаса некрасивым, да что там – безобразным, чье тело ему самому до сих пор кажется неуклюжим, рыхлым и расхлябанным, ему, всего лишь начинающему учителю старших классов из такой именитой литературной семьи, – именно ему отец доверил заботу о любимой дочке. Спросив друга Кая Кёстера, не со-

гласится ли тот перебраться вместе с ним в осиротелый мюнхенский дом, Голо покидает Гёттинген окончательно и бесповоротно, раз и навсегда.

Придя однажды из школы, Меди спрашивает старшего брата, что имел в виду их ректор, когда сегодня с утра в актовом зале провозгласил: из бывшего имперского государства ныне создано государство идеальное. Голо объясняет. А заодно растолковывает, почему неправильно так говорить и так думать.

Вечером в гостиной вместе с Меди и Каем они слушают последние известия из идеального государства: в рейхстаге идут дебаты о пресловутом законе о предоставлении чрезвычайных полномочий. С замиранием сердца внимают они благородным словам Отто Вельса²⁵, который, находясь, можно сказать, в логове льва, отваживается заявить: «Наша солидарность со всеми преследуемыми и притесняемыми». Сразу после него на трибуну высказывает взбешенный Гитлер, здесь, на Пошингерштрассе, его слова режут воздух, как нож мясника: «Вы, господа хорошие, просто плаксы, и недостойны величия нашего времени, если уже сейчас на преследования сетуете». Не веря себе, Голо от испуга даже радио выключает. Да нет, он своими ушами слышал: «если уже сейчас на преследования сетуете», Гитлер и в самом деле только что так и сказал. С этого часа, с этого вечера никто и ничему не

²⁵ Отто Вельс (1873–1939) – немецкий политик, социал-демократ, с 1919 года председатель Социал-демократической партии Германии.

должен удивляться. Он звонит родителям и сообщает: они должны считать себя – точно так же, как и Генрих, и Клаус, и Эрика – преследуемыми лицами. И не когда-нибудь, а «уже сейчас».

* * *

Известия из Германии тревожат Томаса и Катю всё больше. А посему родители покидают Арозу, перебравшись пока что в Ленцерхайде под Куром, где они могут остановиться в доме своих хороших знакомых, покуда их дальнейшие планы не прояснятся. На сей счет в головах у них тысяча разных идей. Переехать ли в Цюрих, как им советуют, или в Базель? Но и Больцано им вовсю расхваливают. Или всё же в Венецию, в дом Альмы Малер? Герман Гессе манит их в Лугано. А брат Томаса, как и Рене Шикеле, рекомендует южный берег Франции.

Сколько сразу возможностей! Но как раз это для Томаса – сущий ужас. Не хочет он никакого выбора, ему нужны определенность и надежность. В отрыве от домашнего крова, да еще перед лицом туманной будущности он и в самом деле испытывает адские муки. Или, по его собственным словам: «После пробуждения кризисное состояние нарастающего раздрызга и душевного упадка, с 8 утра под уходом и опекой Кати. Ужасная раздражительность, чувство безысходности, мышечная дрожь, почти озноб, боязнь потери здравого

рассудка, да и сознания. Под увещевания Кати, при помощи люминала и компрессов, постепенное успокоение и возможность позавтракать яйцом и выпить чаю. Сигарета».

Да, здесь, в Ленцерхайде, втором пристанище на пути изгнания, Томаса Манна денно и нощно настолько мучат тревога и приступы страха, что в отчаянии он вынужден прибегать к помощи успокоительных средств. Постепенно он находит устраивающую его комбинацию медикаментов, именуя ее «ленцерхайдской смесью». Вот рецептура: вечером вместе с мятным чаем таблетка адалина, потом, уже перед отходом ко сну, таблетка фанадорма, а к ней затем обязательно несколько страниц из «Войны и мира» – только такой ценой может он заполучить несколько часов спокойного сна. Первые два медикамента сегодня давно уже подпадают под закон о запрете наркотических веществ, и лишь Толстой пока что еще в свободной продаже.

* * *

21 марта, после обеда, когда Томас Манн уже снова чувствует себя чуть лучше, они вдвоем с Эрикой отправляются на прогулку, во время которой их застигает внезапный снежный буран, крупные хлопья мгновенно засыпают всё вокруг, они с трудом могут найти дорогу, и всё это под злыми порывами северного ветра. «Подхваченный метелью, снег клубами студеной пыли вертится в воздухе и продолжа-

ет сыпаться, сыпаться без конца с серых небес», – записывает Томас Манн у себя в дневнике. И в этот поздний после-полуденный час, около половины пятого, продрогнув, утопая в рыхлом, свежесвыпавшем снегу, он невольно вспоминает о своем герое Хансе Касторпе и его снежном видении в «Волшебной горе»²⁶. А именно о том мгновении, когда перед ним, в самый разгар бурана, этой снежной круговерти, внезапно возникшим видением предстают картины южного пейзажа, морского побережья во всём его «сияющем великолепии». Касторп ощущает дыхание блаженного тепла, видит перед собой «баловней моря и солнца», юношей с бронзово-золотистым загаром, точно таких же, как на полотне Людвига фон Хофмана, что висит у Томаса в его мюнхенском кабинете, – и тогда Ганс Касторп, а вместе с ним, ясное дело, и продрогший на ветру Томас Манн, окунается в блаженный средиземноморский мираж: «Синь плыла перед глазами... То было южное море, ослепительно-синее, искрящееся серебристой рябью; залив дивной красоты»²⁷ – самое время

²⁶ Имеется в виду эпизод «Снег» из шестой главы романа. В русском переводе «Волшебная гора» публиковалась дважды: в шеститомном собрании сочинений Т. Манна (т. 4–5. Л.: Гослитиздат, 1934–1935) в переводе В. Зоргенфрея (гл. 1–5) и К. А. Ксаниной (гл. 6–7) и в десяти томном (т. 3–4. М.: ГИХЛ, 1959) – в переводе В. Станевич (гл. 1–5 и 7) и В. Куреллы (гл. 6).

²⁷ Приводим соответствующие пассажи в переводе В. Куреллы: «Хорошо, что можно здесь переждать, ведь вся эта суматоха, снежная суматоха, нечестивая суматоха, свободно может продлиться до утра» (ТМ, т. 4, с. 204). «Синева плыла... Это было южное море, синее-синее, взблескивавшее серебристой рябью; чудно красивый залив» (ТМ, т. 4, с. 208). «Юноши объезжали коней... при этом му-

протереть глаза. Неужто еще тогда, в заснеженной «Волшебной горе», Ганс Касторп, его герой, впервые грезил о Санари?

А еще там же, в том же сне, ему привиделся красивый мальчик, чьи волосы нежно увенчивали голову пышным шлемом; расположившись «отрешенно в стороне» от остальных, он прижимал к груди сплетенные руки, – да это же Гермес! Юный бог, покровитель путников, тот, кого Томас Манн оставил в саду на Пошингерштрассе, и тот, кто, оказывается, еще тогда, так давно и непререкаемо указал его Хансу Касторпу путь на юг.

* * *

Катя Манн превращается в мать-самку. На пасхальные дни она хочет всех своих детенышей видеть вокруг себя, слишком крутые настали времена, слишком велики таящиеся в них опасности. Со всех сторон на нее сыплются предостережения: только не возвращаться в Германию, вот и Хедвиг, ее мать, то же самое только что опять ей написала. А тут еще и попытка Меди вернуться в школу окончилась плачевно: по телефону девочка жалуется родителям, что там каждый день распевают «Хорста Весселя», и никому теперь нельзя разговаривать с одноклассницами-еврейками. Так что и двух недель не проходит после ее возвращения в

скулы играли под кожей золотистых спин юных всадников...» (ТМ, т. 4, с. 209).

Мюнхен, как решено снова переправить ее в Швейцарию. И организовывать всё это придется Голо, ее брату, который ведь специально из Гёттингена в Мюнхен перебрался, чтобы за младшей сестренкой присматривать. А теперь, значит, семья поручает ему новое ответственное задание. Вот и ломай голову, какими контрабандистскими ухищрениями вывезти Меди из Германии, на границах-то теперь контроль гораздо строже, а его семья, сдастся ему, у национал-социалистов уже под особым наблюдением.

* * *

Наряду со всеми крупными неприятностями Томасу Манну не дают покоя и две мелких: во-первых, у него нет его немецкой шубы, а, во-вторых, 1 апреля истекает срок действия его немецкого паспорта. Хансу Файсту²⁸, давнему чудаковатому другу семьи, переводчику Бальзака, которого из-за его невнятной артикуляции Томас и Катя иначе как Туман (Nebel) не называют, по телефону поручается заняться доставкой столь необходимого для телесного обогрева предмета одежды, а также продлением паспорта.

Файст и в самом деле забирает с Пошингерштрассе столь трепетно ожидаемую шубу и на авто собственноручно доставляет ее на альпийскую верхотуру – правда, не имея с со-

²⁸ Ханс Файст (1887–1952) – немецкий литератор, драматург, переводчик.

бой продленного паспорта. Он не захотел ждать, радостно сообщает он Томасу Манну, но паспорт, без сомнений, через пару дней будет доставлен ему почтой.

На самом деле этот обладатель гордо посаженного чела, понурого носа и жиденькой шевелюры паспорта ждать не пожелал прежде всего потому, что ему не терпелось повстречаться в Ленцерхайде у Томаса и Кати с их дочерью Эрикой, за которой он давно и с завидным упорством ухаживает. Его настойчивость не способно сломить ни постоянное присутствие рядом с Эрикой ее подруги Терезы Гизе, ни очевидно вытекающее из этой тесной дружбы безразличие обеих к знакам мужского внимания, — нет, несмотря ни на что, он снова и снова делает Эрике предложения руки и сердца. Как и в этот раз, в Ленцерхайде, после вручения ее отцу долгожданной шубы.

Обожаемая им Эрика однажды отозвалась о его характере как об уникальной смеси «крайней рассеянности» и «неимоверной настырности». В описываемые дни ей суждено в очередной раз настрадаться от столь прихотливой комбинации качеств: шепелявый Туман каждое «нет» «по рассеянности» просто пропускает мимо ушей, дабы с неизменной настырностью снова и снова повторять свое, уже давно и категорически, раз и навсегда отклоненное предложение. И так десятки раз, с воодушевлением в голосе снова и снова идя на приступ, как будто замечательная идея только что пришла ему в голову». Но Эрика твердо стоит на непреклонном «нет», и в

итоге фонетически невнятный Туман вынужден отступить и с альпийских высот спуститься в долину.

* * *

Едва только Туман, так сказать, рассеялся, оставив законному владельцу его вожаденную шубу, как Томас и Катя принимают решение тоже спуститься с гор, но в другую, южную сторону, их следующая цель – Лугано, и Катя на чем свет стоит клянет тяжеленную, только что доставленную шубу супруга, которую ей теперь с превеликим трудом придется запаковывать, – ведь в Лугано, где они остановятся в отеле *Villa Castagnola*, их ожидает ослепительная весна, там сияет солнышко и теплынь до 20 градусов. Они уже радуются предстоящим визитам к Герману Гессе, встречам и разговорам с другими беглецами – например, с их мюнхенскими соседями Бруно и Лизль Франк²⁹ и их матерью Фрици Массари, – ведь это она совсем недавно подарила их детям собачонку Муши.

Но и здесь, на третьей остановке изгнаннического пути, Томас Манн свято хранит верность «ленцерхайдской сме-

²⁹ Бруно Франк (1887–1945) – немецкий прозаик, драматург, публицист, автор многочисленных романов и повестей, из которых наиболее известен роман-биография «Сервантес» (1934). Был женат на дочери известной австрийской певицы Фрици Массари (Фридерики Масарик, 1882–1969). Эмигрировал вместе с семьей в 1933 году.

си»: таблетка адалина к липовому чаю, немного погодя таблетка фанадорма, а уж после одна глава из «Войны и мира» — от такого снадобья рано или поздно слипаются глаза даже у разнесчастливого, вконец замученного заботами эмигранта.

* * *

В Париже бедняге Клаусу, словно и в него вселился Туман, ночи напролет снится сестра Эрика. Иногда, впрочем, и Гитлер. В каком-то из кошмаров Гитлер заточил их с Эрикой в некоем замке, с ними почему-то еще их мюнхенская собачка Муши. В другой раз он оказывается в постели с Бруно Франком, их мюнхенским соседом, который вообще-то хотел разделить ложе с Эрикой, но та ушла на прогулку с молодым бородатым работягой. И всё время, едва дремота смыкает его усталые глаза, такая вот чушь несусветная. Наутро он с горечью запишет в дневнике: «Чувство одиночества неотступно, только когда ее нет рядом».

* * *

В конце марта, ненадолго, отбой тревоги: Томас Манн не изменил себе, он остался прежним Томасом Манном. Исторические эпохи могут рушиться в небытие, Германия вольна впадать в варварство, ему и его семье может грозить смер-

тельная опасность – что бы ни творилось в мире, Томас Манн знает, откуда ждать истинно великих угроз и считает необходимым в дневнике назвать их поименно. «На новом месте, особенно по утрам, – вот так, без околичностей, со всей прямоотой он, к сожалению, вынужден теперь изъясняться, – в холодной ванной комнате угроза простуды весьма значительна».

Апрель

1 апреля у Томаса Манна истекает срок действия паспорта. Штемпель о продлении, который друг-растяпа обещал обеспечить, разумеется, так и не получен, вместо этого Ханс Файст, распинаясь в бесконечных сожалениях, присылает обратно в Швейцарию утративший силу просроченный паспорт. И получается, что Томас Манн теперь в Швейцарии застрял. Ибо по новому постановлению баварской политической полиции продлевать паспорт в консульствах за рубежом категорически запрещено.

Но и без паспорта – или, как пошутит разбитная бабушка Прингсхайм, «в беспаспортном виде», – Томас Манн полон энтузиазма и продолжает измышлять новые начинания, одно практичней другого: не пора ли, мол, переправить сюда, в Лугано, их большой, шикарный «бьюик», на котором они, вероятно, уже в мае, всей семьей смогли бы отправиться в Мадрид? И не поручить ли это дело, задается вопросом Томас Манн, их преданному шоферу Хансу Хольцнеру, который остался на Пошингерштрассе?

* * *

Тем временем Катя старается как можно скорей вызво-

лить Меди из Мюнхена обратно к себе. Решение четырнадцатилетней девчушки уехать из Швейцарии, чтобы вернуться в свою школу, оказалось не просто детской блажью – оно грозит обернуться роковой ошибкой. Положение в Германии обостряется с каждым днем, сперва жуткий закон о чрезвычайных полномочиях, который и вправду дает Гитлеру и нацистам полномочия на всё, а теперь вот уже и повсеместный бойкот еврейских магазинов – дневники и письма Хедвиг Прингсхайм упоминают о творящихся переменах с ужасом. Катя понимает: медлить нельзя. А потому 1 апреля она звонит на Пошингерштрассе, в дом, который еще совсем недавно был ее собственным жилищем, и требует от Голо и Меди тотчас приступить к эвакуации. Она настаивает, торопит, – ей ли не чувствовать, как захандрил ее Томми с тех пор, как любимое дитя его покинуло? Для школы Голо должен представить объяснительную записку, что отец Меди в Швейцарии, к сожалению, тяжело заболел.

И с запропастившейся Мони в тот день, судя по всему, состоялся сеанс связи, ибо в дневнике Томаса Манна отмечен «телефонный разговор с Берлином», но даже имя второй по старшинству дочери отец не считает нужным упомянуть. Словно опасается заразиться ее безалаберным образом жизни и отрешенностью от мира сего. И о чем конкретно с Моникой говорилось, мы тоже не знаем, известно лишь, что всем советам покинуть страну Мони, похоже, категорически воспротивилась и попросту осталась и дальше жить в Берли-

не – слишком она влюблена в ресторанного пианиста. Да и вообще не в силах уразуметь, из-за чего весь сыр-бор. Брату Клаусу, единственному, кто, как ей кажется, в семье ее понимает, она, однако, пошлет письмо, даже со стихотворением. Посвященным, впрочем, скорее перипетиям любовным, нежели политическим, так надо полагать.

* * *

Голо и Меди собрались в дорогу мгновенно: после звонка матери уже наутро, спозаранку оба отправляются в путь – причем Меди дозволено взять с собой лишь маленькую сумочку, ибо ее брат разработал весьма хитроумный план. Дело в том, что с 1 апреля легально выехать из страны можно лишь по предъявлении официально выданного «свидетельства о благонадежности» – но покамест никто толком не знает, что это за бумага и где ее получать. К тому же сегодня воскресенье, учреждения не работают. Вот в эту бюрократическую лазейку Голо и замыслил проскочить.

На Пошингерштрассе едва начинает светать – а Меди уже долго и ласково гладит на прощание собачку Муши. Потом ее истово обнимает Курц-Мари и не хочет выпускать из объятий. Крупные слезы текут по ее лицу.

– Теперь ты уж точно не вернешься, – шепчет она.

Но Меди, как всегда, все печали отменяет лучезарной улыбкой, уверяя, что, конечно же, они вскоре снова увидят-

ся, как только времена переменяются к лучшему.

Шофер Ханс на огромном «бьюике» отвозит брата и сестру на вокзал, где те садятся на поезд до Фридрихсхафена. Там, под личиной обычных воскресных туристов, Голо и Мэди собрались сесть на прогулочный пароходик. От причала во Фридрихсхафене он перевозит пассажиров на другой берег Боденского озера в Швейцарию – а потом обратно. Разумеется, чтобы не вызывать подозрений, они купили билеты в оба конца. Но как только пароходик пересечет озеро и сделает первую остановку в Романсхорне, чтобы принять на борт новых пассажиров, эти двое, воспользовавшись неизбежной суматохой, сойдут на берег – и не вернуться.

Троекратно перекрестившись, брат и сестра стоят на швейцарском берегу. Какое облегчение, какое счастье – видеть вокруг только швейцарские флаги, и ни одного – со свастикой. Выбросив обратные билеты, они садятся на первый же поезд до Цюриха, где остановилась в отеле их сестра Эрика с подругой Терезой Гизе. Оттуда они отправляют телеграмму родителям, которые у себя в Лугано с волнением ждут вестей. Голо надеется на отцовскую признательность за его столь действенную помощь в осуществлении побега любимого папенькиного чада.

Но надеется, как всегда, напрасно.

Когда на следующий день, 3 апреля, они прибывают на вокзал в Лугано, отец и не думает скрывать своих предпочтений. Разницу в отношении к обоим детям более чем внятно

дает почувствовать контраст двух глаголов в его дневниковой записи: «...я приветствую Голо и наконец-то снова заключаю в объятия Меди».

Голо, значит, удостоен просто приветствия. О благодарности вообще ни слова. Все прежние обиды вновь всколыхнулись в его душе, впервые с тех пор, как отец опубликовал рассказ «Непорядки и раннее горе»³⁰, а в нем совершенно недвусмысленно создал литературный памятник двум своим старшим и двум младшим детям. А средние, Голо и Моника, видимо, не были сочтены достойными отображения. И с тех пор, похоже, всё так и осталось, «раннее горе» так и продолжает мучить его всю жизнь. Сколько бы Голо там в Мюнхене с сестренкой ни возился, сколь бы мужественно ни противостоял опасностям, отец отказывает ему в настоящем, достойном признании, в котором он, Голо, при его-то застенчивости и неуклюжести, так нуждается.

Совсем другое дело Меди: словно влюбленная парочка бродят теперь отец и вернувшаяся к нему дочь в первые апрельские дни по субтропическому парку их гранд-отеля Villa Castagnola в Лугано – «Я снова гулял рука об руку с Меди». Трогательно наблюдать, с какой легкостью младшая дочь умеет растопить сердце пожилого мужчины, без всякого труда пробуждая в нем живость и ответную благодар-

³⁰ ТМ, т. 8, с. 128–167, перевод Т. Исаевой. Опубликовано также в переводах Э. Бородиной-Морозовой («Смятение и раннее горе», 2007) и Е. Шукшиной («Непорядок и ранние страдания», 2011).

ность. И да – здесь и вправду сразу чувствуется любовь, самая настоящая, неподдельная. Господин папенька с Меди совершенно откровенен: «Перед обедом гулял с Меди в саду, обсуждая будущее». И, видимо, именно тогда с этим будущим впервые сплелось название Санари, Санари-сюр-Мер, местечко, которое рекомендовал ему Рене Шикеле. Или, как сам Томас Манн в дневнике запишет (и где она запись, ни дать ни взять, выглядит бюрократическим подпунктом повестки дня предстоящего заседания семейного совета, причем в части «Разное»): «О пребывании на юге Франции».

И только Голо в эти дни имеет вид доставленного, но так и не полученного почтового отправления. Надо надеяться, что когда-то его всё же поблагодарили. Но в обсуждение конкретных планов на лето он, очевидно, никак не посвящен. Тем не менее по крайней мере мать замечает его и ценит, в Париж Клаусу она о нем напишет: «Но он держится очень достойно и вообще моя опора».

Пока что, однако, «опору» отправляют обратно в Мюнхен, на Пошингерштрассе, чтобы там – невзирая на возрастающие риски – оставаться на посту и ждать новых отцовских указаний.

И первое же из заданий оказывается особенно щекотливым: ему поручено в банкирских домах Aufhäuser и Feuchtwanger снять с отцовских счетов сколько возможно наличности и припрятать в надежном месте. Вероятно, в глазах Томаса Манна это и есть более чем достаточный знак благо-

воления – нагрузить сына столь важными, ответственными делами.

* * *

Между прочим, не только Катя, но и ее мать Хедвиг между собой лишь изредка называют Томаса Манна «Томми», зато куда чаще, почти с подозрительной настойчивостью, «нашей ланью», что ввиду давно и ревностно демонстрируемой мужем и зятем величавой повадки доминантного оленя-самца как-то сбивает с толку.

Однажды, через несколько лет, на званом обеде в Гарварде он посоветует соседу по столу, Уолту Диснею, после ошеломляющего успеха его Микки Мауса снять мультфильм об олененке, и даже порекомендует для сценария книгу Феликса Зальтена «Бэмби». Но это так, к слову.

* * *

А Генрих Манн, первый эмигрант обширного семейного клана, в эти дни уже наслаждается «пребыванием на юге Франции», он обживаетеся в Ницце, с удобствами устроившись в привычном номере Hôtel de Nice. Он всегда любил светский лоск и лазурный блеск этого города, чуть ли не каждый год выезжал на Ривьеру, чтобы подолгу, неделями, бла-

женно слоняться по променадам набережных, выпив по пути аперитив (а вслед за ним и еще один, и еще) и, сидя за столиком, поглядывать на принаряженных дамочек, что вышли выгулять своих собачек и шляпки. И точно так же, как в былые годы он с достоинством нес под палящим курортным солнцем бремя своих лет и солидных, с неизменным жилетом костюмов, точно так же он теперь с достоинством несет на плечах бремя изгнанничества. У него и в гостинице всё тот же, давно облюбованный номер, помогающий хоть на мгновения забыть, что родины, куда можно было вернуться, у него больше нет. Вот и сегодня, в шляпе и светлом костюме, он снова на променаде, устроился за столиком, попивая здешний анисовый ликер пастис и благодарно вспоминая те дни, три года назад это было, когда Нелли первый раз навестила его в Ницце, а потом Эрих Поммер³¹ из UFA приехал с бобиной киноплёнки, и они втроем в пустом кинозале впервые посмотрели «Голубого ангела» – гениальную экранизацию его романа «Учитель Гнус», с Марлен Дитрих в ее первой большой роли. Он очень хорошо помнит, как сидел тогда в темном зале, а на экране белокурая красавица, сама чувственность, воплощение соблазна, кружила голову пожилому зануде. И как ему стоило лишь чуть голову повернуть, чтобы тоже увидеть подле себя белокурый соблазн, дарован-

³¹ Эрих Поммер (1889–1966) – видный кинопродюсер («Кабинет доктора Калигари», «Доктор Мабузе», «Нибелунги», «Метрополис»). Эмигрировал в США, после войны вернулся в Германию.

ный ему сценарием самой жизни.

Позже, у себя в номере, когда ночная мгла уже укрыла пеленой весь город и даже гладь моря, проглядывающую лишь в мерцании прибрежных фонарей над водой, Генрих достает из ящика стола листок почтовой бумаги с бланком отеля и пишет коротенькое письмо брату Томасу, где сообщает свой адрес и просит брата о том же. Вот так, 15 апреля, протянется первая, робкая линия связи между двумя изгнанными за рубеж любекскими патриотами.

После чего Генрих берет второй чистый лист бумаги и карандашом, мягкими контурами, набрасывает очертания своей Нелли. Хорошим рисовальщиком его и вправду не назовешь, но контуры этого женского тела ему неизменно удаются. Он столь часто его изучал в их совместной квартирке в Берлине, когда, в радостном предвкушении поудобнее усевшись в кресле, просил Нелли раздеваться сегодня еще медленнее, чем обычно. И Нелли, чувствуя, что он действительно ее любит, так сильно, как никто еще ее не любил, охотно шла своему Хайни навстречу.

* * *

Первые немцы, которые весьма недружественно исключают Томаса Манна из своего круга, это как раз друзья, а точнее, «друзья-ротарианцы», как сами они по сию пору себя именуют. Да, 4 апреля 1933 года мюнхенский Ротари-клуб

без долгих дискуссий и особых переживаний принимает решение о немедленном исключении из своих рядов нобелевского лауреата.

А ведь совсем недавно, еще в январе 1933-го, с каким благоговением они внимали ему на еженедельных встречах, по вторникам в полдень в парадном зале отеля «Четыре сезона», когда он докладывал о стокгольмских нобелевских торжествах или о красотах своей курортной виллы на Куршской косе. Но с 4 апреля они больше с ним дружить не желают; лишь много позже, едва ли не столетие спустя, мюнхенский Ротари-клуб поручит одному из своих членов, – по иронии судьбы даже обладателю фамилии Уншульд³², – еще раз «проработать» неловкий прецедент, однако, несмотря на фамилию исполнителя, презумпция невиновности перед лицом бесспорных фактов устоять неспособна, слишком очевидно они тогда провинились. Провинились в трусости, угодливо забегая вперед в послушании и потакании травле. До какой конспирации доходит в апреле 1933 года переписка между Мюнхеном и Лугано, можно судить по красноречивым недомолвкам в сообщении Хедвиг о событиях в Ротари-клубе: в письме упоминается лишь хорошо известный обеим сторонам, но вряд ли цензору гестаповцу, день недели, в который проходят еженедельные заседания: «Получив известие касательно вторничных встреч нашей лани, мы чуть не лопнули от возмущения». И выразительное резюме Хедвиг Принг-

³² Unschuld – невинность, невиновность (нем.).

схайм: «Просто свинская банда».

В протоколе заседания от 4 апреля фигурирует, кстати, лишь одно выступление, в котором, среди прочего, говорится: «Истинным ротарианцем может быть лишь тот, кто воодушевлен неколебимой национальной гордостью». И еще: «Ротари-клуб ставит себя на службу новому национальному подъему». А в этом отношении применительно к Томасу Манну и некоторым другим еврейским или эмигрировавшим членам клуба имеются существенные сомнения. По окончании заседания в поименный список членов клуба против еврейских фамилий, а также против № 31, «Манн, Томас, профессор» правлением клуба от руки внесена пометка «отстранен».

Инициатором «отстранения» стал, очевидно, член клуба под номером 28, некто Вильгельм Лойпольд, главный редактор газеты *Münchener Zeitung*, однако письмо Томасу Манну с уведомлением о принятом решении президент клуба Вильгельм Арендс вынужден подписать собственноручно: «Ваше длительное отсутствие в Мюнхене не дает нам возможности утвердительно говорить о вашей принадлежности к членам клуба. Вы, надо полагать, в достаточной мере осведомлены о развитии событий в Германии, чтобы понять, что решение вычеркнуть вас из списков членов нашего клуба мы считаем совершенно неизбежным. Со всемерным уважением, Арендс, президент». Только получив это письмо в Лугано, Томас Манн падает с небес на землю: «Это было так нежиз-

данно. Вот уж не думал. Потрясение, веселая оторопь, изумление душевному состоянию этих людей, совсем недавно, буквально только что считавших меня „украшением“ своего круга, а теперь изгоняющих без слова сожаления, благодарности, как будто это само собой разумеется».

А ведь еще каких-то несколько месяцев назад он подробно рассказывал «друзьям-ротарианцам», как ездил в Веймар, в дом Гёте, и они благостно нежились в лучах его славы, хоть он в начале и снисходительно заметил, что «в последнее время – скорее *polens*, чем *volens*³³ – был весьма нерадивым членом клуба и показывался у них редко».

Ну вот, а теперь, поскольку начиная с 11 февраля он то ли вовсе не был в Мюнхене, то ли не показывался на их встречах, они и вправду посчитали его негодным, нерадивым ротарианцем, хотя справедливости ради отметим, что никакого голосования по этому поводу, судя по всему, не проводилось, президент сам, своей волей распорядился, чтобы его «отстранили», или, попросту говоря, вышвырнул его, в угоду и в ответ на усиливающееся давление мюнхенских национал-социалистов.

В архивах мюнхенского Ротари-клуба сохранилось любопытное письмо от одного из членов – находясь в Александрии, тот, недоумевая, спрашивает: как так, почему Томаса Манна исключили? В ответ ему разъясняют: потому что Томас Манн, а также некоторые другие, «после начала нацио-

³³ *Volens polens* – волей-неволей (лат.).

нальной революции подались за границу». И тем самым, как с невероятной витиеватостью следует далее, «придали курсирующим в национал-социалистических кругах убеждениям, что в данном случае речь идет о врагах народа, подозрение в достоверности». «Придали подозрение в достоверности» – даже вышвыривая Томаса Манна из своих рядов, ротарианские мудрецы желают изъясняться с такой же, как Томас Манн, изысканностью, но безнадежно запутываются в согласованиях и смыслах, навлекая на себя подозрение в достоверности собственной безграмотности.

* * *

Возможность отвлечься от злополучного решения ротарианцев выпадает уже на следующий день за партией в шары в гостях у Германа Гессе – почти до черноты прокаленного солнцем автора «Степного волка» и «Сиддхартхи» (давно, впрочем, утратившего былой анархизм). У Гессе, в его оазисе с дивными видами на озеро Лугано, Томас Манн, отстраненный от членства ротарианец, всегда как-то успокаивается: радушная мягкость хозяина, его примятые соломенные шляпы – всё здесь излучает благодатную беспечность, летнюю, солнечную беззаботность. Вот и Голо Манн, которому дозволено сопровождать отца, тоже отмечает «весомость, безусловную, в самой сути своей истинную поэтичность, но в то же время и близость к земле всего его существования».

К тому же земная телесность Гессе отдает аскезой, его отношения с женщинами отмечены странной боязнью физических соприкосновений, его эротика полна внутренних преград, так что и в этом отношении оба Манна, отец Томас и сын Голо, чувствуют себя здесь вполне уютно.

И только одно – а именно, что виллу в Монтаньоле над озером Лугано Гессе получил в подарок от богатого ценителя его таланта, тогда как его собственная всего-навсего оплачена его же тестем, – только это обстоятельство в глубине души слегка Томаса Манна корбит. Впоследствии он не раз будет ставить в пример замечательный дом Гессе своим богатым поклонницам, как бы подталкивая их к такому же шагу, но ни одна почему-то не подтолкнется.

Вилла Casa Rossa и вправду по-особому великолепна, она стоит на южном склоне, на огромном участке земли, откуда открываются виды до самой Порлеццы, вокруг роскошный, террасами ниспадающий сад, куда Манн и члены его семейства так любят приезжать из Лугано на машине, – дом этот, на самом краю Тессина, одной ногой как бы еще стоит на севере, но другую уже закинул в сторону юга.

Внутри дом разделен на два ареала – точнее говоря, на две квартиры, каждая с отдельным входом, с одной стороны – половина Германа Гессе, с другой – его жены Нинон, которая на восемнадцать лет моложе мужа. Чтобы не видаться друг с другом слишком часто, супруги общаются посредством записок, оставляемых в условленном месте. «Ты слишком ча-

сто нарушала ритм жизни, в котором существует моя душа», – напишет он ей, к примеру, когда она внезапно решится навестить его лично. Да и на женитьбу два года назад она, многолетняя почитательница, его, по сути, вынудила.

Словом, такой вот брак с ограничениями во времени и пространстве. Однако на партии в шары 5 апреля на собственной, специально оборудованной при доме площадке, супруги выступают единой командой. Другую представляют Томас, Катя, Голо и Меди. Солнце бросает еще косые, но уже теплые лучи на песчаную площадку, расположенную чуть ниже дома – она как бы врезана в склон, огорожена деревянной изгородью, а с нижней стороны подперта каменным парапетом, на котором сейчас стоит поднос с легким вином. Меди, как самой младшей, неизменно предоставляется право бросать первой. Окончательный счет матча, к сожалению, неизвестен. Зато есть фото, запечатлевшее двух художников слова, столь любящих одиночество, в дружеской беседе, Гессе расплылся в улыбке, а Томас Манн, ну да, тоже вроде как улыбается, почти. Два колосса ушедшей эпохи. «С радостью вижу», – запишет Гессе о Томасе Манне у себя в дневнике, – что новоиспеченный эмигрант «первую тяжелую депрессию постепенно преодолевает».

Шесть дней спустя все встречаются снова, на матч-реванше, только Голо к этому времени уже снова будет в Мюнхене, чтобы с ужасом убедиться: национал-социалисты тем временем затевают с их семейством совсем другие игры. На

пересадке в Цюрихе он успеет повстречаться и выпить кофе с сестрой Эрикой – та предостерегает его от возвращения в Германию. «Только прочь оттуда и больше ни ногой, а всё мюнхенское забыть, что упало, то пропало». Но Голо так не может. Он же отцу обещал: вернуться, последние оставшиеся дела уладить – насчет денег и насчет машин.

* * *

И Голо действительно удается в эти дни снять с семейных счетов в банкирских домах Feuchtwanger и Aufhäuser очень много денег. Снова и снова ходит он в банки, снова и снова берет наличные. В итоге у него на руках 60 000 рейхсмарок, то бишь 600 сотенных купюр. Он спрячет этот пухлый конверт в сундук в кладовке, под грудой старых, запылившихся номеров журнала *Simplicissimus*.

Но тут его настигает письмо от отца с новым поручением: отец просит извлечь из стенного шкафа его старые дневники и переслать ему в Швейцарию. Ничто в жизни так не выбивало Голо из колеи, как предательское проникновение в его собственные дневники и последующее самоубийство соседа по комнате, совершившего эту подлость, – вот почему просьба отца, доверяющего ему, именно ему, сохранность своих дневников, так его взволнует. Томас Манн, кстати, напишет, что надеется на его, Голо, деликатность и порядочность – и, конечно же, даже не подозревает, что сын его совсем недав-

но на собственном горьком опыте испытал, к каким смертоносным последствиям подобная не деликатность может привести. Вот почему Голо, скорее всего, и в самом деле так и не рискнул даже краем глаза заглянуть в сокровенные тайны отцовского прошлого.

Но и он, Голо, в свою очередь не подозревает, до какой степени озабочен отец судьбой старых дневников, вот и опять, только что, он напишет: «Новые беспокойства из-за моих старых дневников». А это ведь еще только начало. О чем Голо, правда, пока тоже не догадывается.

Письмо насчет дневников Томас Манн отправил из Лугано 8 апреля, заодно вложив в конверт и тот самый ключик от стенного шкафа, который давно, как ему кажется, целую вечность назад, то есть 11 февраля, в день отъезда из Мюнхена, он на всякий случай, пущей сохранности ради, сунул в кармашек саквояжа. Едва письмо прибывает в Мюнхен, Голо тотчас приступает к делу. Для начала, чтобы никто не подглядел, он запирает отцовский кабинет изнутри и только потом достает дневники из шкафа. Укладывает их в большой коричневый отцовский чемодан. Дневники за более чем три десятилетия, это много. Сюда же, как велено, он положит книги из рабочей библиотеки отца и издательские договоры из ящика письменного стола. В итоге распухший от тайн чемодан настолько тяжел, что в одиночку Голо даже поднять его не в силах и вынужден призвать на подмогу Ханса Хольцнера. Чемодан надо отправить в Лугано багажом,

малой скоростью, шофер готов сам отвезти неподъемное отправление на вокзал, и Голо с радостью принимает предложение. И вот 12 апреля Мюнхен вслед за Томасом Манном покидает и всё его сокровенное письменное прошлое. Голо телеграммой уведомляет родителей о скором прибытии дневников в Лугано, по идее они должны быть доставлены еще до Пасхи.

* * *

Однако чемодан в Лугано не прибывает. Ни 13, ни 14, ни 15, ни 16 апреля, на Пасху. Первые червоточины тревоги уже поселились у Томаса Манна в душе. Но покамест он списывает задержку на праздничные дни, вероятно, в это время не все службы работают, так он себя пока что успокаивает.

* * *

Для семейства Манн это будет ужасная Пасха. В шикарных залах Villa Castagnola родители ощущают себя, – как пишет Катя Клаусу, – «словно увядшая осенняя листва, бесприютно гонимая ветром». И даже шоколадные пасхальные яйца, присланные обоим супругам Идой Херц из Нюрнберга, не способны их утешить.

Правда, все ненадолго вздыхают с облегчением, когда из

Рима приезжает Биби: он и в самом деле удрал с экскурсионной поездки своего интерната в Рим, самостоятельно, вагоном третьего класса, с пересадкой в Милане, сумел добраться до Швейцарии и теперь вот у родителей, в полной безопасности. Кроме того, на пасхальные дни приезжает из Мюнхена в Лугано и Голо вместе с другом Каем Кёстнером. В семье любят этого милого двадцатидвухлетнего молодого человека, сына бывшего министра, у него прекрасные манеры и к тому же, уверены все, он своим ровным характером и мягким юмором хорошо действует на Голо, его здесь все так и зовут, «Кайус», «веселый нравом». Но прежде всего, о чем мы узнаём от бабушки Хедвиг, он «дивно хорош собой», еще и поэтому его присутствие за праздничным столом, уж конечно, весьма радует Томми.

Но уже вскоре Голо и Кай, как и Биби, в эти праздничные пасхальные дни отодвинутся для Томаса Манна на второй план. Сначала ему предстоит узнать, что еще в начале апреля, в ходе нацистских «акций» против еврейских магазинов, Макс, брат Терезы Гизе, подруги Эрики, был схвачен и отправлен в новехонький, только что отстроенный концлагерь Дахау.

А вслед за тем по телефону до Томаса Манна доходят и вовсе уж безумные новости. В пасхальном номере *Münchener Zeitung* сообщается о каком-то «Протесте Мюнхена, города Рихарда Вагнера» против него, Томаса Манна, – и всё из-за его февральского доклада, в котором он якобы великого

композитора унижил и оскорбил.

Затеял весь скандал, очевидно, мюнхенский дирижер и генеральный музыкальный директор Ханс Кнаппертсбуш, основываясь лишь на газетной заметке о манновском докладе в Амстердаме, опубликованной в *Vossische Zeitung*. Полагая себя единственным лордом-хранителем вагнеровской печати, он два месяца сколачивал коллектив единомышленников. И вот, наконец, сиятельное сообщество видных мюнхенских граждан, пылая гневом и не жалея громких слов, встало на защиту Рихарда Вагнера. И от кого? От едва ли не величайшего из ныне живущих его почитателей. Абсурд и гнусность.

Что заварил всю эту кашу именно проныра Кнаппертсбуш, которого в семье хорошо знают и между собой по-свойски зовут «Кнаппи», – это первая неожиданность. Но то, что любимая дочь Меди именно этого Кнаппертсбуша страстная поклонница, и совсем недавно, 20 марта, когда они вместе с бабушкой были в опере, из семейной ложи не сводила с него восторженных глаз, а потом, с пылающими щеками, еще и отцу взახлеб об этом рассказывала, – это уж для Томаса Манна нестерпимо болезненный удар. Как может дочь так его предать, как может обожать кого-то другого? Вот и недавно совсем, в конце марта, бабушка посчитала нужным специально сообщить: «Меди бредит Кнаппи как никогда». Но тут же находит очень ясные слова: поскольку «ненаглядный ее кумир» затеял «всё это свинство», девочке придется «вырвать сию первую пылкую любовь из своего юного сер-

дечка».

Прочитав злополучный «омерзительнейший документ», Томас Манн, понятное дело, глазам своим не верит – не только самому тексту, но и перечню подписавших, среди которых не только сам «Кнаппи», но и многие другие из тех, кого он еще недавно числил в друзьях. Или, словами его тещи: «Подлая стряпня на лживой, клеветнической основе, подписанная всеми звучными мюнхенскими именами. Ошеломляюще и отвратительно. Бедные Томми». А в дневнике бедный Томми не может сдержать крик души: «Сильнейший шок отворачивания и ужаса». И еще: «Жуткое, гнетущее впечатление от оскудения, одичания, угрожающей низости состояния умов в Германии». Очевидно, и за этим протестом, как и прежде за выдворением Томаса Манна из Ротари-клуба, кроется фигура главного редактора *Münchener Zeitung* национал-социалиста Вильгельма Лойпольда – это он скармливал Кнаппертсбушу поверхностные, неточные отзывы в прессе о докладах Томаса Манна, а потом опубликовал и сам «протест»; скорей всего, он же подбил Рихарда Штрауса и Ханса Пфитцнера³⁴ поставить подпись под сим документом. Как и многих других. Совершенно очевидно, что на докладе ни один из подписавших не присутствовал, как не удосужился и прочесть 52 страницы его полного текста, опубликованного в литературном журнале *Neue Rundschau*. Им было достаточно знать, что в пресловутом докладе – и это за границей! – То-

³⁴ Ханс Пфитцнер (1869–1949) – немецкий композитор, дирижер, публицист.

мас Манн назвал их непогрешимого Вагнера «дилетантом». А то, что и само это слово, как и весь доклад Томаса Манна является выражением любви и высочайшей оценки, что доклад представляет собой сплошное прославление Вагнера устами страстного его почитателя, — всего этого можно ведь намеренно и не заметить. Суждения Томаса Манна характеризуются в протесте как «недостоверные» и «некомпетентные», а сам он выставлен человеком, который «с высокопарной заносчивостью» посягнул на достоинство великого Вагнера. «Подобное принижение великого гения нашей немецкой музыки, — говорится в воззвании сорока пяти деятелей мюнхенской музыкальной жизни, — мы не позволим допускать никому, а уж менее всего господину Томасу Манну». Совершенно очевидно, что вся акция — просто попытка скомпрометировать Томаса Манна в глазах общественности. Представить его — именно его! — отщепенцем, изменником родины. И попытка вполне успешная. Кто в наши дни прочтет один только зачин «протеста», тот сразу поймет, каково было 15 апреля 1933 года «положение нации»: «Сейчас, когда национальный подъем Германии всё увереннее пробивает себе дорогу, мы убеждены, что не будет сочтено не заслуживающим внимания наше обращение к общественности с целью защитить от оскорблений память великого немецкого гения Рихарда Вагнера».

Глубже и больнее всего ранит Томаса Манна не только тот факт, что его выставили осквернителем его кумира Рихарда

Вагнера, но что сделано это в его любимом городе Мюнхене, который, вдруг объявив себя «городом Рихарда Вагнера», в этом своем новом качестве выступил против него лично. А ведь не далее как несколько месяцев назад, в конце 1932 года, в журнале *Querschnitt*, он всему миру явил пространное объяснение в любви к баварской столице «как прибежищу свободы и веселости, которые, утверждая себя в слове „искусство“, противостоят умопомрачениям и болезненному фанатизму современности». И вот, пары месяцев не прошло, а «болезненный фанатизм современности» обратился теперь непосредственно против него – и как раз из Мюнхена, где свобода и веселость весной 1933-го сгинули в одночасье. Томас Манн в растерянности, он не знает, как быть. Гнев и тоска снедают его душу. Его доклад «Боль и величие Рихарда Вагнера» оборачивается только болью для него самого, Томаса Манна, с каждым днем всё больше впадающего в уныние. Еще много месяцев он не сможет слушать Вагнера, настолько будет мучить его этот подлый протест. А что, если национал-социалисты не только Вагнера у него отнимут, но и чемодан с дневниками?

* * *

Вместе с другом Каем уже в пасхальный понедельник Голо уезжает из Лугано обратно в Мюнхен, поскорее прочь от расстроенного отца и измученной заботами матери. Поскольку

в доме на Пошингерштрассе съестные припасы истощились, да и вообще вилла становится всё более неуютным местом, они для начала заезжают во дворец четы Прингсхайм. Бабушка Хедвиг записывает: «Голо и Кёстер наконец-то прибыли из Лугано, через Больцано, жутко голодные, слопали всю припасенную пасхальную ветчину и прочую праздничную снедь, от родителей не привезли ничего существенного, только растерянность». Лишь после этого Кай и Голо перебираются на Пошингерштрассе, в комнату Голо в мансарде. Но повсюду в доме царит похоронное настроение. Курц-Мари старается держаться, а у самой, стоит с ней заговорить, слезы на глазах. Да и другие служанки ходят словно тени, только причитают и жалуются, да тихо спрашивают, а вернутся ли господа вообще.

Отношения между Каем и Голо тоже страдают от такой гнетущей атмосферы, друзья то и дело цапаются, всё больше по мелочам, но иногда и по вопросам большой политики. Однажды за столом у бабушки с бабушкой, когда дело доходит до шумной, яростной дискуссии о положении в стране, «Голо, которому все мы возражали, в ответ только орал, прямо как бык ревел, покуда я, устав до смерти, около одиннадцати не отправила ребят домой», – сообщает бабушка. «Гёльхен, – записывает она, – аргументирует всё время сугубо теоретически, а когда ставишь его перед фактами жизни, выходит из себя». Внука она впредь называет «ослом-горлопаном». Сам Голо описывает нам эти вечера несколько ина-

че: «Бедняги Прингсхаймы, у старика уже смерть в глазах, вид тот еще, бормочет: „Надо же, до чего мы дожили“». И позже: «Бабушка, давняя поклонница Наполеона, от тихого восхищения Гитлером тоже не удержалась». Последнее наблюдение весьма неожиданно, ведь в дневнике Хедвиг чуть не каждый день встречаются яростные обличения гитлеровских махинаций. Возможно, Голо просто хочется повысить представление собственной роли в имевших место ожесточенных дебатах, но так ли оно на самом деле, нам уже никогда не узнать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.